Спасибо, что скачали книгу в бесплатной электронной библиотеке
http://filosoff.org/ Приятного чтения!

Иван Александрович Ильин

Путь к очевидности

Совр. человечество, утверждает Ильин, переживает глубочайший кризис; в своей основе это кризис духовный, т. е. разрушение коренных духовных начал человеческого бытия. Важнейшая задача состоит в том, чтобы восстановить и обновить эти начала, для чего необходимо глубоко проникнуть в их подлинную природу, а также понять особенности усвоения и трансляции духовных ценностей в об-ве, роль различных социальных ин-тов (семьи, нации, государства и т. д.) в данном процессе. Осн. внимание в книге уделяется осмыслению природы духовности, строения и закономерностей творческого акта, созидающего культуру, что позволило бы дать совокупность рекомендаций и правил, помогающих человеку осуществить прорыв к первоосновам его бытия. Ключевую роль в решении указанных проблем призвана сыграть, полагает Ильин, философия как неистребимое стремление человека достичь «ясного для всех понимания в делах высшей и последней важности». А для этого философы должны отказаться от конструирования универсальных систем и осознать простую мысль: настоящий философ выражает только то, что стало содержанием его собственного духовного опыта.

V 1.0 by prussol

И. Ильин

ПУТЬ К ОЧЕВИДНОСТИ

ПРЕДИСЛОВИЕ

О НОВОМ ЧЕЛОВЕКЕ

Современный мир идет навстречу духовному обновлению. Многие еще не видят этого: одни – потому, что не изжили своих старых заблуждений и продолжают считать их «последним словом» жизни и правды; другие – потому, что страдания и лишения нашей эпохи слишком велики и поглощают у людей все их силы. Есть и такие, которые почувствовали необходимость духовного обновления, но не видят нового, верного пути и не знают, что начать… Но близится тот «день», когда духовное обновление начнется само собою и притом потому, что старые пути и направления окажутся исчерпавшимися, разочарование охватит души и человеческие лишения и страдания покажутся невыносимыми…

Ввиду этого было бы важно предвидеть, каковы же будут эти иные, новые пути и что нам надо ныне делать для того, чтобы вступить на них без сомнений и колебаний. Человеку недостойно пребывать в беспомощности и пассивности, предаваясь своей непонятной «судьбе» с покорностью младенца. Человек должен разуметь свои ошибки и заблуждения, свободно судить их, а не предаваться изжитому психозу, принесшему уже столько бед. Человек призван овладевать своей душой и ее слабостями, освобождать себя из состояния духовной слепоты и творчески слагать свою новую судьбу перед лицом Божиим. Трагические события истории, смуты и бедствия посылаются нам для того, чтобы мы одумались и сосредоточились на самом жизненно-существенном, чтобы мы вспомнили о нашей творческой свободе и отыскали в самих себе нашу собственную духовную глубину, с тем чтобы из нее повести наше обновление, – свободно, мужественно и активно.

И прежде всего нам надо сосредоточиться на том, что мы утратили. Человечество попыталось за последние два века создать культуру без веры, без сердца, без созерцания и без совести; и ныне эта культура являет свое бессилие и переживает свое крушение.

Люди не захотели больше веровать, потому что они уверили себя, будто вера есть противоразумное, научно несостоятельное и «реакционное» состояние души. Люди отреклись от сердца, потому что им стало казаться, что сердце мешает инстинкту, что оно есть разновидность «глупости» и сентиментальности, что оно подрывает человеческую деловитость и ставит человека в смешное положение; а «умный» человек больше всего боится показаться смешным; он желает «делать дела» и утверждаться в земной жизни. Люди отвергли созерцание, потому что их трезвый, прозаический «ум» презирает человеческую «фантазию» и считает, что самое важное в жизни есть «эмпирическое» и «прозаическое». Они вытеснили из жизни начало совести, потому что ее живоносные призывы и укоры совершенно не укладываются в контекст хладнокровных расчетов и деловых планов. И за всем этим, наряду с черствым себялюбием и самомнением, скрывался ложный стыд и ложный страх: люди боятся остаться в бедности и неизвестности, они боятся прослыть ребячливыми, несерьезными и смешными… Голодное самочувствие, тщеславие и честолюбие соединяются здесь с робостью перед «общественным мнением»…

Этот ложный стыд будет преодолен и устранен великими лишениями и страданиями нашей эпохи. Ибо страдание есть подлинная и могучая реальность, оно приобщает человека бытию настолько, что люди научаются быть, а не казаться, и их тщеславное желание «прослыть» и «прославиться» отходит на задний план. Но это и значит, что современному человеку предстоит еще мучиться и терпеть, и может быть, еще в неизведанных им формах гнета и унижения, до тех пор, пока не отпадет все кажущееся, условное и мертвое и пока не вырвется наружу исток внутренней реальности и творческой силы. Человек должен снова возжелать подлинной реальности, субстанции всяческого бытия и всякой жизни. Тогда в нем оживет и раскроется сердце; тогда он свободно и решительно отдастся сердечному созерцанию; на этом он вновь обретет Бога, примирится со своей совестью и начнет создавать новую культуру, – обретая новую веру во Христа, слагая новую науку, созидая новое искусство, формулируя новое право и водворяя новую, отнюдь не социалистическую, социальность…

Нельзя ни предусмотреть, ни предсказать, когда именно начнется это духовное обновление и когда наступит час творческого прорыва и постижения. Отдельные носители и осуществители его жили во все века и совершают свое дело и ныне. Во всяком случае, мы должны и теперь уже искать верного диагноза для современного духовного кризиса и намечать верные пути, ведущие к духовному обновлению.

К этому призвана особенно философия, как любовь к мудрости, как потребность в божественных содержаниях, как ответственнейшее исследование, как воля к очевидности в делах высшей и предельной важности. И философы нашей эпохи поступят правильно, если они забудут свои субъективно-произвольные «конструкции» и всякие «гносеологические» и «диалектические» комбинации и отдадут свои силы предметному созерцанию.

Тогда они прежде всего увидят и укажут духовные раны современной культуры, начиная с утраты священного во всей человеческой жизни и кончая исследованием тех бездн, в коих гнездится зло мира.

Вслед за тем им придется установить диагноз нашего культурного кризиса и показать, как современное человечество переоценивает чувственную жизнь и чувственные наслаждения, как оно создает бессердечную культуру и погружается в хаос духовного затмения.

Обращаясь к путям духовного обновления, они должны будут заняться прежде всего вопросами воспитания, чтобы указать его важнейшие, забытые и запущенные в нашу эпоху задания: надо будить духовное начало в детском инстинкте, приучать его к чувству ответственности, укреплять в людях предметную силу суждения и волю к духовной цельности в жизни.

Надо верно оценить то бремя земного существования, которое мы несем через всю жизнь, и найти естественные и справедливые способы для социального облегчения его.

Особенно важно понять и объяснить людям сущность творческой жизни. Это величайшая задача для поколений, идущих нам на смену. Строение творческого акта, созидающего культуру, должно быть постигнуто до глубины и обновлено из самой глубины, и притом – во всех областях и духовных призваниях.

И для того, чтобы разрешить все эти задания, людям надо обеспечить себе доступ к первоначальным основам духа и жизни. Человек будущей культуры должен снова возлюбить духовную свободу, предаться живой сердечной доброте, взрастить в себе драгоценное смирение как источник подлинной силы, преклониться перед тайной Божьего мироздания, укрепить в себе силу сердечного созерцания, научиться радости благодарения и восстановить в себе подлинную религиозность.

И то, что он тогда будет излучать в мир, освятит его личную жизнь и поведет его культуру по путям истинного христианства.

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

1. БЕССЕРДЕЧНАЯ КУЛЬТУРА

Из переписки двух ученых

Вот что стояло в его письме.

«Достоуважаемый коллега!

Не понимаю, чего Вы, собственно говоря, требуете от современного человечества?.. Чем дальше идет развитие культуры, тем напряженнее, тем интенсивнее она становится. Культура есть вообще воплощение интенсивности: «многое» собирается и сосредоточивается (аккумуляция) и затем действует в формах концентраций (интенсивность). Это составляет самую сущность культуры. Именно бескультурность выражается в рассеянии, в рассредоточенности; и именно поэтому варварство есть явление распада, бесформенного множества, экстенсивности, вялого бессилия. Напротив, кто хочет творить культуру, тот должен собрать свои силы, научиться концентрации, вниманию, единению; он должен все взвешивать, вкладывать в дело все свои силы и стойко держаться до конца. Без этого никакая культура невозможна. Но это и есть приговор для всякой наивности, непосредственности и

бессознательности. Мысль и воля должны проснуться, сосредоточиться, подчинить себе воображение и создать необходимое. При чем тут так называемая «жизнь чувства» или, как еще говорят, «сердца»? Что она может дать? Она будет только отвлекать, уводить, мешать умственной концентрации, ослаблять волевую энергию… Сто́ит только перебрать по очереди отдельные области человеческой культуры – и все сразу обнаружится.

Возьмем ли всеопределяющую ныне технику, великую основу всякого культурного начинания. Она строится на математическом естествознании и руководится соображениями экономии сил, полезности и дохода. Здесь чувство ничего не может; оно будет только мешать и должно быть устранено…

Возьмем ли хозяйство, и в частности деловой оборот: две великие сферы реальной необходимости и целесообразной организации – царство трезвого расчета, хладнокровного взвешивания и предвидения. Здесь все решается верной калькуляцией, конкуренцией, рекламой и быстро принятым решением. Где здесь место для любви? Она только спутает все, растворит, разложит и подорвет; она поколеблет и остановит весь хозяйственно-общественный механизм, заставит человека наделать нерасчетливых глупостей и разорит его. Человек борется с человеком за свое существование – и на этом держится все хозяйство. Здесь господствует инстинкт самосохранения и соперничество. И кто предается чувствам и чувствительности, тот пропащий человек…

Посмотрите на науку – этот главный двигатель всей современной культуры. Здесь все построено на объективном наблюдении и бесстрастном анализе. Жизнь чувства, с его неустойчивостью и капризной субъективностью, внесла бы в науку только туман и пристрастие; и потому она должна быть здесь подавлена или, во всяком случае, устранена. Чем меньше «симпатии» и «антипатии», волнения и негодования, тем успешнее идет научное исследование. Ненависть и любовь только плодят научные ошибки. «Сердцу» просто нечего делать в науке.

А если взять культуру как политику, то тут уже совсем не будет места для «сентиментальности». В политике царит личный, групповой и классовый интерес. Здесь идет умная и дерзкая борьба за власть. Здесь нужен холодный расчет, трезвый и зоркий учет сил, дисциплина и удачная интрига; и конечно – искусная реклама. Политик должен блюсти равновесие в народной жизни и строить «параллелограмм сил» в свою пользу. При чем тут чувство? Сентиментальный политик никогда не дойдет до власти, а если получит ее, то не удержит. Здесь все решается волей и силой, и любви здесь нечего делать. Сентиментальность погубит всякий государственный строй…

Заговорите о любви в современном искусстве, и на Вас все обернутся, как на устаревшего чудака-профана. Современное искусство есть дело развязанного воображения, технического умения и организованной рекламы. Сентиментальное искусство отжило свой век; это был век пастушек и романтиков. Ныне царит изобретающее и дерзающее искусство, с его «красочными пятнами», звуковыми пряностями и эффективными изломами. И современный художник знает только две «эмоции»: зависть, при неудаче, и самодовольство, в случае успеха.

И вот от всей культуры остается только религия, которая ныне, кажется, поколеблена в самых своих основах. Но западные европейцы давно уже уяснили себе, что в религии должна господствовать воля, дисциплина и богословское доказательство. Для того чтобы иметь веру и религию, человек должен захотеть веры и подавить свои сомнения. Он должен подчинить себя церковной дисциплине и погасить свои субъективные симпатии. Самостоятельное, свободное кипение чувств и разнуздание личных мнений только подрывает и разрушает религию. Здесь нет места ни сомнению, ни произволу; и если церковь хочет быть сильною, то она должна устранить сердце из религии.

Вот почему культура вообще не нуждается в жизни чувства: последнее должно быть обуздано, укрощено и преодолено. Распущенное чувство есть прямо признак некультурности, пережиток варварских времен»…

Я отвечал ему:

«Ваши определения, почтенный коллега, очень ясны и чрезвычайно поучительны. Они удивительно освещают всю проблему. Именно из того, что Вы вскрыли, у современных поколений западного человечества возникла нынешняя бессердечная культура. И все мы должны постоянно думать о том, сможет ли она дальше существовать в таком виде и как можно было бы спасти ее… Потому что предварительные итоги ее развития являют картину сущего крушения, а может быть, и величайшей катастрофы…

Культура последнего века покоится на некоторых основных предпосылках, которые редко выговариваются открыто, но которые внушаются современному «культурному человеку» с самого детства как нечто само собой понятное и не допускающее никаких сомнений. Именно поэтому он впитывает их в себя как бы с молоком матери и живет ими всю жизнь. Вот эти предпосылки.

Сердце существует только для глупых людей; умные люди не считаются с ним и не

поддаются его нашептам. Совесть есть выдумка блаженных; с нею носятся только сентиментальные люди; только нежизнеспособные фантазеры дрожат перед этим призраком добродетели. Вера изжита и стала пережитком; она простительна только наивным и непросвещенным людям; а умные и образованные люди могут только притворяться верующими, и притом в силу расчета и лукавства. Любовь есть или здоровый половой инстинкт, нужный для деторождения, или же старомодная сентиментальность, лицемерная фраза, остаток первобытного прошлого, которому нет места в современной культурной жизни…

Как сложились, как окрепли эти предпосылки современной культуры, – это долгая история: все развитие западноевропейского человечества дает ответ на этот вопрос; и было бы чрезвычайно поучительно проследить кристаллизацию этих основ из столетия в столетие. Однажды появится русский ученый, который выполнит эту работу. Под многовековым влиянием языческого, а потом католического Рима люди культивировали волю и мышление; они старались овладеть воображением, столь неосторожно проснувшимся в эпоху Возрождения, и подчинить его; и пренебрегали жизнью чувства, во всей его благодатной глубине, свободе и силе. От всего чувства оставалась одна чувственность: эротика без любви. Только от времени до времени вырывались из земли и поднимались к небу – совсем индивидуально и самовластно – личные «гейзеры» чувства, горячие источники любви и совести, которые при жизни не встречали ни понимания, ни сочувствия; а после смерти их личного носителя <его> дело искажалось или предавалось забвению (таков был Франциск Ассизский в Италии, таков был Мейстер Экхарт в Германии, таков был Томас Карлейль в Англии). Мы, конечно, отметим и признаем в современной культуре начало общественной благотворительности; но при ближайшем рассмотрении окажется, что в основе ее лежит волевая дисциплина, соображение о пользе и умелая организация, а совсем не любовь, не совесть и не чувство. Общественная благотворительность на Западе обдуманна и умна; почти всегда хорошо налажена и приносит немало пользы; но она почти всегда жестка и холодна, нелюбовна и неделикатна, ограничена определенными социальными группами и никак не связана с живою добротою… Она благотворит с выхолощенным сердцем.

Именно в этом все дело: западноевропейская культура сооружена как бы из камня и льда. Здесь религия, искусство и наука (за немногими гениальными исключениями!) холодны; а политика, техника, хозяйство и деловой оборот – жестки и суровы и вменяют себе эту жесткость в великую заслугу («высший уровень культуры!»)… Любовь мешает уму и воле; а культура считается именно делом воли и ума. Проявлять жизнь чувства ребячливо, несерьезно, просто – смешно! А стать смешным – это самое страшное дело для «серьезного» человека… Культура есть дело строгое; а строгость формальна, холодна и жестка.

Умный английский философ Гоббс формулировал однажды социологический закон: «человек человеку – волк» (homo homini – lupus). Было бы несправедливо сказать, что это и есть закон современной культуры. Однако «культурное приличие» требует того, чтобы люди обращали друг на друга как можно меньше внимания: не обременяли друг друга ненужным наблюдением и общением. Человек человеку – прохожий. Или, как тонко подметил Чехов, человек человеку не то запертый сундук, не то источник недоразумений. Люди подобны деревянным шарикам, которые чокаются друг о друга и отскакивают в разные стороны. Люди друг другу – соперники или конкуренты; и каждый опасается чужого недоброжелательного ока и осуждающего разговора. Они заботятся друг о друге лишь в меру ожидаемой от другого имущественной или служебной пользы, или в меру своего тщеславия, или еще – в меру чувственного влечения. А использованного человека «списывают со счета» и при первом удобном случае предают. И делают это совершенно сознательно и довольно ловко. И зная это, для приличия – время от времени декламируют о гуманности; и расчетливо, с навязчивой рекламой, организуют «гуманные заведения». А в прочем люди, как деревянные шары, случайно наталкиваются друг на друга, отскакивают и катятся дальше своею случайной дорогой. Люди относятся друг к другу так, как если бы их нормальное «рядомжительство» было подготовительной стадией для столь же нормального «взаимного нападения». Но именно поэтому, как только дело доходит до борьбы, так оказывается, что «человек человеку волк»…

Поэтому эти судорожные спазмы современной культуры – революции, гражданские и международные войны – не случайны: они суть естественные выражения сердечной жесткости, алчности, зависти и ненависти. Жестокость этих столкновений уже заложена в повседневной жесткости и бессердечной жизни. И неудивительно, что антракты между революциями заполняются систематической подготовкой новых революций; и что революция стремится захватить всю вселенную. И антракты между войнами заняты изобретениями новых оружий; и «наука» уже торгует своими военными изобретениями, продавая их из страны в страну. Оружия эти становятся все более разрушительными, убийственными и мучительными; и уже направляются на мирное население. И уже работают везде школы взаимного выслеживания, замучивания и

искоренения. И все это не случайно, а заложено глубоко в бессердечии современной культуры.

Вот почему надо признать и громко выговорить, что двигаться по этому пути далее невозможно. Бессердечная культура подрывает сама себя: в изобретении атомной бомбы она дошла до вселенского самоубийства, а изобретение это, наверное, не составляет последнего слова разрушительной техники. Источники и основы современной культуры должны быть в корне пересмотрены. Человечество творит свою культуру неверным внутренним актом, из состава которого исключены: сердце, совесть и вера, а сила созерцания – заподозрена, осмеяна и сведена к подчиненному, почти подавленному состоянию. Так создаваемая культура есть больная культура; и то, что мы переживаем ныне, все наши бедствия, страдания и тревоги, суть естественные последствия этой больной культуры».

2. ОБРЕЧЕННЫЙ ПУТЬ

Вся современная культура, «социалистическая» и «несоциалистическая», потрясена в своих основаниях; ей грозит разложение и гибель. Это объясняется тем, что она создавалась и ныне по-прежнему строится с отстраненным и заглохшим, омертвевшим сердцем. Ее породил душевный акт неверного строения, и это вело и ныне ведет к самым тягостным, извращенным, трагическим последствиям. Современное человечество, «христианское» и противо-христианское, должно понять и убедиться, что это есть ложный и обреченный путь, что культура без сердца есть не культура, а дурная «цивилизация», создающая гибельную технику и унизительную, мучительную жизнь.

Пренебрежение, с которым современное человечество относится к «сердцу», объясняется целым рядом причин. В основе его лежит неверное представление о творческом акте, который трактуется материально, количественно, формально и технически. Для того чтобы жить в качестве вещи среди вещей (или, что то же, в качестве тела среди других тел), человек, по-видимому, не нуждается в «сердце», т. е. в живом и деятельном чувстве любви к Богу, к человеку и ко всему живому; такое существование может явно обойтись без этой необходимой и важнейшей силы: человек может отдавать свой интерес пище, питью, чувственным удовольствиям, внешним удобствам и впечатлениям или, наконец, лечению, не вовлекая своего сердца во все эти дела и занятия, оставаясь холодным, черствым и самодовольным «счастливцем». Подобно этому человеку, понимающему творчество не качественно, а количественно, безразличному к нравственному, религиозному, художественному и социальному совершенству жизни, – нет особенной надобности вовлекать («инвестировать») в свои дела и отношения начала чувства и любви: обилие имущества и денег, повышение фабричной продукции и увеличение сбыта, умножение слуг и рабов, – все это достигается волею, рассудком, расчетом, мыслью, интригою, жестокостью и преступлениями гораздо легче, чем любовью, которая может оказаться прямым препятствием во всех этих делах. Точно так же формальное отношение к жизни и творчеству облегчает человеку достижение «успеха» чуть ли не на всех поприщах: формальное трактование права требует только мысли и воображения и возможно без совести, без чести, без патриотизма и жалости; формальное отношение к религии превращает ее в дело пустого обряда и памяти; формальное восприятие искусства уже породило современный модернизм во всех его видах, не нуждающийся ни в сердце, ни во вдохновении, ни в предметосозерцании; формальная политика есть дело власти (воли) и дисциплины, и современное тоталитарное государство есть ее прямое порождение; и так во всем, во всех человеческих делах и отношениях. Что же касается техники, то она является сущим средоточием материализма, количественности и формализма; здесь сердцу, по-видимому, решительно нечего делать.

И вот человек, так понимающий и осуществляющий творческий акт, естественно и неизбежно предается наивно-животному своекорыстию, жажде обладания, власти и почестей и в довершение усваивает совершенно ложное понимание человеческого достоинства, столь характерное для современных поколений.

Современный человек, чувствуя, что ему грозит бедность с ее лишениями, и ослепляясь мнимой мощью капитала, старается как можно больше нажить и как можно меньше утрудить себя. Он гонится за «прибылью», он желает получать и иметь много, но не желает давать со своей стороны. Он хочет жить долго и наслаждаться много и потому старается отделываться от своих занятий по возможности формально, поскорее и полегче управляться с ними, не связывать себя ничем и вовлекать свои чувства в дела возможно меньше. Он считает выгодным сторониться по возможности от всего, что могло бы обременить его: он склонен считать все «относительным», «пустяками», «вздором»… И такая установка становится для него «защитной» и «бережливой» привычкой.

Кроме того, ему кажется, что такой подход к жизни наиболее соответствует его мужскому и профессиональному достоинству. «Настоящий» мужчина деловит и важен; он принимает свою серьезную деловитость за настоящую жизненную «предметность».

Он не живет чувством и не принимает всерьез сердечных побуждений (исключение делается только для эротических увлечений, и то не всегда). Он избегает всего «субъективного», «личного»; он боится показаться смешным. У него нет времени для «сентиментальностей». Он хочет «импонировать» людям, а для этого надо быть в жизни независимым, важным, чопорным. Поэтому он старается отделаться от «чувства» совсем. Он выступает в жизни как человек деловой и холодный и не придает значения «сердцу». Ибо он боится больше всего – показаться слабым и стать смешным…

Вот почему люди нашей эпохи стыдятся положительных и добрых чувств и не предаются им. И самая благотворительность становится у них делом расчета, черствого ума, организации, делом показным и недобрым. И самые разговоры их о «гуманности» звучат фальшиво и толкуются партийно и двусмысленно. Но если человек не живет сердцем, то нет ничего удивительного, что оно глохнет и отмирает и что это отмирание становится наследственно-потомственным. При этом люди не замечают, однако, что отрицательные чувства, дурные и злые (гнев, злоба, зависть, мстительность, ревность, жадность, тщеславие, гордость, жестокость и др.), остаются и беспрепятственно расцветают, тем более что они, по-видимому, проявляют силу человека. Они импонируют большинству людей, ибо обнаруживают в человеке энергию, волю, настойчивость и властность; они внушают окружающим сначала опасение, а потом и страх, и даже незаслуженное уважение… Отсюда эта жалкая картина: современный «культурный» человек стыдится своей доброты и нисколько не стыдится своей злобы и порочности.

Так развернулась больная культура наших дней: она строилась и создалась при бессилии добрых чувств, из заглохшего и омертвевшего сердца. И тот, кто присмотрится к этому своеобразному душевному состоянию, тот неизбежно придет к следующим выводам.

Современный человек привык творить свою жизнь – мыслью, волею и отчасти воображением, исключая из нее добрые побуждения сердца; и, привыкнув к этому, он не замечает, куда это ведет: он не видит, что создаваемая им культура оказывается безбожною, впадает в пошлость, вырождается и близится к крушению. Мышление без сердца, – даже самое умное и изворотливое, – остается в конечном счете безразличным: ему все равно, за что ни взяться, что ни обдумать, что ни изучить. Оно оказывается бесчувственным, равнодушным, релятивистическим (все условно! все относительно!), машинообразным, холодным и циничным; особенно – циничным, а потому характерным для карьеристов, для людей пролазливых, льстивых, пошлых и жадных. Такое мышление не умеет вчувствоваться в свои предметные содержания; оно не созерцает, оно лишено интуиции; его главный прием есть умственное разложение жизни, как бы умственная «вивисекция» живых явлений и существ. Поэтому оно остается аналитическим, оно действует разлагающе и так охотно занимается пустыми «возможностями» и «построениями» (конструкциями). Это делает его беспредметным в истинном и глубоком смысле слова; но люди этого не замечают. Отсюда возникает формалистическая и схоластическая наука, – формальная юриспруденция, разлагающая психотерапия, бессодержательная эстетика, аналитическое естествознание, парадоксальная математика, абстрактная и мертвая филология, пустая и безжизненная философия. Наука становится мертвым и ложным делом, а человек вынашивает беспочвенное, разнузданное, обманчивое миросозерцание…

Бессердечная воля, – сколь бы упорной и настойчивой она ни была в жизни, – является в конечном счете лишь животной алчностью и злым произволением. «Освободившись» от любви, воля оказывается бесцеремонной и безудержной, но воображает о себе, будто она «могущественна» и «свободна». В действительности же она является безжалостной, напористой и жестоковыйной. Успех для нее – все; мучительство и убийство для нее – дело простое и обычное. Это – злая энергия души. Она живет всецело в трезвости земных похотей: это есть воля к обладанию и к власти и расценивать ее надлежит не как духовную потенцию, а как опасное явление природы. Это и есть именно та воля, для которой поставленная цель оправдывает всякое средство. Это есть воля ненасытного властолюбия, воля тоталитарного государства и «единоспасительной церкви», антисоциального капитализма, коммунистического деспотизма, империалистических войн за колонии; такова воля всех карьеристов и тиранов.

И наконец – воображение в отрыве от сердца, как бы картинно и ослепительно оно ни изживалось, остается в конечном счете безответственной игрой и пошлым кокетством. Никогда еще оно не создавало истинного и великого искусства; никогда еще ему не удавалось узреть глубину жизни и высоту духовного полета; и никакой успех у толпы, если он бывал, не доказывал обратного. Фантазия, лишенная любви, есть не что иное, как разнуздавшееся естественное влечение, неспособное творить культуру; или же изобретательный произвол, не имеющий никакого представления о художественном совершенстве. Поэтому безлюбовное воображение есть не дух, а

подмена духовности, ее суррогат. Его «игры» – то похотливы и пошлы, то конструктивны, беспредметны и пусты. Это воображение, которое разрешает себе все, что доставляет ему удовольствие, и которое готово на всякий, и даже самый гнусный заказ, диктуемый ему хозяйственной или политической «конъюнктурой»… Именно оно, духовно слепое, формальное и релятивистическое, породило в истории искусства современный «модернизм», со всем его разложением, снижением и кощунством…

Еще недавно казалось, что людям бессердечной лжекультуры никак не докажешь обреченности этого пути; они просто не хотели слушать наших возражений и обличений. «Почему же этот путь должен считаться обреченным, если история избрала именно его и осуществляет его? Все превосходно развивается, наука делает замечательные открытия, техника идет вперед и создает невиданное, промышленность процветает, медицина являет все новые достижения, юриспруденция вытачивает свою систему понятий, химия и физика производят миро-потрясающие, а может быть, даже миро-разрушительные опыты и т. д… В чем же обреченность этого пути?!»…

Стоя непосредственно перед крушением, в преддверии близящейся мировой катастрофы, люди не хотели видеть, что это не победоносное шествие, а скольжение в пропасть; что формализм и разнуздание суть гибельные координаты; и что властолюбию даются в руки такие средства, которыми оно будет злоупотреблять во всеобщее унижение и порабощение… И вот события последних десятилетий показали, что путь этот есть действительно обреченный путь.

Теперь люди скоро убедятся в том, что мнимый «прогресс» есть в действительности разложение культуры. События заставят их пересмотреть свои воображаемые «достижения» и обновить свой творческий акт. Сердце и созерцание, любовь и интуиция должны быть реабилитированы и возобновлены и соответственно получат руководящую силу. Наряду с чувственным наблюдением внешнего мира, наряду с холодной и жесткой волей к власти должно расцвести особое сердечное созерцание, свободное от предрассудков прошлого, не компрометируемое псевдонаучной мыслью, воспринятое и осуществляемое в культурном творчестве. Это сердечное созерцание переродит и окрылит чувственное наблюдение мира; оно свяжет и облагородит холодную и жестокую волю к власти и укажет ей ее высшие цели и задачи.

Человек должен научиться этому новому созерцанию, воспринимающему и природу, и человека, и высшие предметы потустороннего мира – любовию; любовь, по завету Евангелия, должна стать первою и основною движущею силою и создать новую культуру на земле. Человек должен понять, что привычные для него вопросы – «а какая мне от этого польза?» и «как использовать мне данное положение вещей против других?» – суть вопросы, достойные животного, а не человека, и что такая установка души не может создать великую и жизнеспособную духовную культуру.

Культурное творчество требует от нас предметного служения, духовной преданности и жертвенности, т. е. сердца и любви. Оно требует от нас выбора истинной цели, верности вчувствования и свободной совести, т. е. опять-таки любви и созерцания. И эту творческую любовь и это творческое созерцание нельзя ничем заменить или подменить: ни суровой дисциплиной, ни идеей долга, ни авторитетными велениями, ни страхом наказания. Ибо любовь имеет в виду свободно избранный и любимый предмет; она индивидуализирует все отношения человека и воспитывает в нем культуру предметности; она интуитивна, созерцательна; она невынудима и свободна; она исходит от совести, движется вдохновением и творит. Тогда как долг есть начало рассудочное и формальное, а дисциплина действует силою авторитета, она не выбирает своего предмета и довольствуется внешней исполнительностью. Конечно, при отсутствии любви – лучше долг, чем произволение, и лучше дисциплина, чем разнуздание. Но ни долг, ни дисциплина не могут заменить любви.

Вот почему культура без любви есть пустое и мертвое понятие, мнимая культура или прямое лицемерие. И путь этот есть обреченный путь.

3. О ЧУВСТВЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Человек, как духовное существо, всегда ищет лучшего, ибо некий таинственный голос зовет его к совершенству. Он, может быть, и не знает, что это за голос и откуда он… Он, может быть, чувствует бессилие своей мысли и своего слова каждый раз, как пытается сказать, в чем же состоит это совершенство и какие пути ведут к нему. Но голос этот внятен ему и властен над ним; и именно желание отозваться на этот призыв и искание путей к совершенству придают человеку достоинство духа, сообщают его жизни духовный смысл и открывают ему возможность творить настоящую культуру на земле.

А человек призван быть на земле именно духом – не просто живым существом наподобие животных и насекомых, и не только одушевленным созданием, удачно соображающим и желающим для себя всякой пользы, капризно и разнообразно чувствующим и нестесненно фантазирующим. Все эти душевные способности даются ему, но не для злоупотребления ими, а для благого и ответственного служения. И вот первое, что необходимо каждому человеку, желающему творить культуру, это

чувство своего предстояния, своей призванности и ответственности. Можно было бы сказать, что люди делятся на две большие категории: одни безответственно ищут в жизни или своего наслаждения (это люди «поглупее»!) или своей пользы (это люди «поумнее»!), другие же чувствуют себя предстоящими чему-то Высшему и Священному, так, что, даже не умея сказать, что это за Высшее и где обретается это Священное, они не сомневаются в самом своем предстоянии Ему. Мир не есть для них «вольное пастбище», данное им для личного прокормления и устройства; он не есть для них и случайное нагромождение «впечатлений», «явлений», удовольствий и неприятностей. Они чувствуют и прозревают великий смысл мирового вращения и своей собственной жизни; и не успокаиваются на том потоке «ничтожной суеты» и «мелкого сора» (А. К. Толстой), в котором тонут столь многие.

Это чувство предстояния и призванности сразу успокаивает их и тревожит: успокаивает – ибо дает им ощущение высшей «водимости», творческой основы, жизненного смысла и собственного достоинства; тревожит – ибо вызывает в них живое чувство духовного задания, высшей ответственности и собственного несовершенства. Это возлагает на них обязанность не мириться со всем тем, что происходит в них и во внешнем мире, обязанность оценивать, искать верных мерил, выбирать, решать и творить. Это зовет их сразу к труду, к дисциплине и к вдохновению.

Такое удостоверение в собственной духовности и приятие ее есть первооснова живой религиозности. Ибо то Высшее, чему человек предстоит, есть Господь, Его зовы и Его божественные излучения. И призвание человека определяется именно свыше. И духовное измерение человеческой жизни и всех ее дел имеет тот же единый источник. И ответственность человека есть в последнем измерении всегда ответственность перед Богом.

Само собою разумеется, что человек не всегда отчетливо сознает это и редко может точно выговорить ощущаемое. Но это ничего по существу не меняет. Сознание есть не первая и не важнейшая ступень жизни, а вторичная, позднейшая и подчиненная. И закрепление в слове глубоких и священных жизненных сил дается не каждому человеку, дается не всегда и не легко. Здесь важно и драгоценно не умствование и не словесное описание, а твердое и глубоко укорененное чувство предстояния, призванности и ответственности. Духовность человека отнюдь не совпадает с сознанием, отнюдь не исчерпывается мыслью, отнюдь не ограничивается сферою слов и высказываний. Духовность глубже всего этого, могущественнее, богаче, значительнее и священнее.

Духовность человека состоит прежде всего в уверенности, что в пределах его собственной души есть лучшее и худшее, на самом деле лучшее; такое, качество и достоинство которого не зависит от человеческого произвола; такое, которое надлежит признать и перед которым подобает преклониться. К этому лучшему и высшему надо прислушиваться, сосредоточенно испытывать его, вникать в него, предаваться ему. И по мере того как человек осуществляет это, он убеждается в том, что это высшее и лучшее совсем не исчерпывается его личными пределами, но является в нем самом как бы излучением и энергией действительно Высшего и Совершенного Начала, которому он и предстоит на протяжении всей своей жизни. Приобщаясь этому Началу, духовный человек не может не радоваться Ему, не может не возжелать Его и не полюбить Его. И очень скоро он удостоверяется в том, что это радование естественно и целительно, что это желание драгоценно и жизненно необходимо, что эта любовь открывает ему настоящий доступ к жизненному свету, к истинной свободе, к подлинному бытию и личному духовному достоинству. В этом делании духовный человек научается преклоняться перед Богом, чтит самого себя, видит и ценит духовность во всех людях и желает творческого раскрытия и осуществления духовной жизни на земле. Это и есть сущая культура.

Все это можно было бы выразить так: в основе подлинной духовной культуры лежит личная, искренняя религиозность культурно-творящего человека.[1]Религиозность есть живая первооснова истинной культуры. Она несет человеку именно те дары, без которых культура теряет свои смысл и становится просто неосуществимой: чувство предстояния, чувство задания и призванности и чувство ответственности.

Предстояние Высшему есть первый дар религиозности. Напрасно думать, что это чувство «унижает» человека или придает ему «рабские черты». Такое мнение свидетельствует о том, что данному человеку далеко до истинной свободы: он боится попасть в «рабское» положение именно потому, что он все еще чувствует себя сам «недавним рабом», или «полурабом», или, если угодно, «вольноотпущенником». Человек, нашедший свою свободу и утвердившийся в ней, знает, что никакие условия, ни внешние, ни внутренние, не могут отнять у него этой свободы; ибо оттого, что другие люди будут обходиться с ним, как с рабом, его свобода не угаснет, а только углубится до пределов внешней недосягаемости; сам же он никогда не усвоит рабскую установку. Свобода, вообще говоря, не «дается», а «берется»; она берется духом, как его неотъемлемое достояние, и

соблюдается им, как неотчуждаемая святыня. Но для того, чтобы это совершилось, свобода должна найти свой источник в том Высшем, которому она имеет счастье предстоять и от которого исходит всяческая духовность и всяческая свобода. Именно это имел в виду мудрый Томас Карлейль, когда писал: «В груди человека нет чувства более благородного, чем это удивление перед тем, что выше его»… «Человек не может вообще знать, если он не поклоняется чему-либо в той или иной форме»[2]… Надо сказать еще больше: человек не может творить культуру, не чувствуя себя предстоящим именно тому, что он должен осуществить в своем культурном творчестве. «Творящий» без верховного Начала, без идеала, перед которым он преклоняется, не творит, а произвольничает, «балуется», тешит себя или просто безобразничает (наподобие Пикассо и других модернистов). Новые поколения, следующие за нами, должны признать, что поклонение Богу не унижает человека, а впервые довершает его бытие и возвышает его. Человек же, который «ничему не поклоняется», обманывает сам себя, ибо на самом деле он поклоняется себе самому и служит своей бездуховной и противодуховной похоти. И культура его будет не культурой, а беспредметным посяганием и произволением, лишенным главного, не способным ни познать истину, ни создать художественное, ни совершить любовное, благое и чистое, ни узреть и раскрыть справедливое право.
Предстоящий измеряет себя именно тем, чему он предстоит. Именно это надо иметь в виду, читая евангельские слова: «Будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный» (Мф 5:48). Предстоящий Богу измеряет и оценивает себя лучами Божественности. Предстоящий совершенству судит себя высшим, доступным человеку критерием. Предстояние подъемлет сначала взор человека, потом сердце его и волю его; оно вызывает в нем новые мысли, новое понимание себя, других людей и всей вселенной. Строение его души, доселе бывшее как бы одноэтажным домиком, надстраивается и возвышается. Его око начинает видеть новые «пространства», усваивает их и приобщает их к своей жизни. Или можно сказать: душа его переживает некое священное окрыление. Сердце его воспринимает новые, горние лучи и научается радоваться им, ожидать их и трепетать от этого ожидания. Воля его научается выходить из всего чисто личного, мелкого и пошлого и сосредоточивается на лучшем, на объективно лучшем, на совершенном; она научается представлять себе это лучшее не только «вверху», но и «впереди»: она находит в нем жизненное задание для своего будущего.
Так пробуждается и крепнет в человеке живая совесть. Не совесть, угрызающая за несовершение в прошлом добра или за совершение в прошлом зла; но совесть, как творческая энергия, энергия любви и воли, направленная вперед, в будущее, к предстоящим совершениям. Она же и дает человеку то высшее счастье на земле, которое выражается словами духовное достоинство и призвание.
Духовное достоинство состоит в том, что «предстоящий» человек утверждает свою жизнь приятием Божественного, любовью к Нему и верностью Ему. Он приемлет Его лучи, и эти лучи проникают в его душу до самого дна. Он проникается ими, как бы питается и животворится ими, и они сообщают ему свой огонь, свой свет и свое тепло. В них он находит свое бытие; так, что самое существо или естество его личности определяется и освящается ими. В глубине его души как бы строится храм, а в храме этом утверждается алтарь и престол с неугасающим светильником. И не в том смысле, чтобы этот храм, и престол, и светильник были бы «доступны» ему, как иное – иному, как извне приходящему «прихожанину»: но в том смысле, что этот храм есть его собственная обитель, и престол этот есть его собственная святыня, и светильник этот есть его собственное горение. Не только «в нем есть пламя», но он сам в полноте своего духовного бытия есть это пламя. И это пламя есть его Главное, от которого он не может отказаться, которым он дорожит превыше всего своего «прочего» и которому он не может изменить. И чувствуя это удостоверенно, он начинает постигать, что́ значит «чтить самого себя» (Пушкин!) и что такое есть чувство собственного достоинства.
Вот где скрывается последний и безусловный корень духовной ответственности, без которой человеку недостойно жить на земле и невозможно создавать духовную культуру.
Человек, как свободное и зрелое существо, отвечает за свою жизнь, за ее содержание и за ее направление. Это духовно-естественно и неизбежно. Дух есть живая сила, энергия, которая чувствует себя выбирающей, решающей и действующей; и это самочувствие его не иллюзия и не обман. Тайна свободы, – или, как обычно говорят, «свободы воли», – состоит в том, что сила духа способна сосредоточиваться, укреплять себя, увеличивать свою силу и превозмогать свои внутренние затруднения и свои внешние препятствия. Дух человека «свободен» не в том смысле, что на него «ничто не влияет» или что он не несет никакого бремени «воздействия» и «причин»: но в том смысле, что ему дан дар самоусиления, самоосвобождения, который он должен принять и в пользовании которым он должен искуситься и укрепиться. Обычная воля человека есть не более чем потребность,

влечение, страсть или упрямство. Но духовная воля человека есть дар освобождать себя от всякого неприемлемого и отвергаемого воздействия, как внутреннего, так и внешнего. Человеческому духу присуще это живое чувство: «я мог в прошлом поступать иначе», и соответственно «я и в настоящем могу выбрать, решить и осуществить свое решение». Повторяю: это не иллюзия и не самообман, ибо эта мощь самоусиления своей мощи действительно присуща человеческому духу. Неискушенному и неопытному может казаться, что он «не умеет» или «не знает», как начать; что он «слаб» и «беспомощен». Но ему будет казаться это лишь до тех пор, пока он будет сохранять «душевную», а не «духовную» установку. Ибо душа человека может действительно «духовно не уметь» и чувствовать себя «духовно слабой и беспомощной»; ей неизбежно пребывать «под давлением обстоятельств» и «влечений»; для нее естественно колебаться, откладывать, не дерзать, искать оправданий и ссылаться на «среду», которая ее «заедает». Но для духа все это неестественно, чуждо, странно и мертво. Дух есть живая энергия: ему свойственно не спрашивать о своем умении, а осуществлять его; не ссылаться на «давление» влечений и обстоятельств, а превозмогать их живым действием. Как сказал однажды Карлейль: «Начинай! Только этим ты сделаешь невозможное возможным».

Свобода эта состоит в том, что не его определяют «влечения» и «обстоятельства», а он определяет сам себя, то расценивая свои влечения и видоизменяя свои обстоятельства, то извлекая из себя решения и свершения, идущие наперекор всем обстоятельствам и влечениям. Свободы полной, тотальной, абсолютной нет и быть не может; и можно только радоваться тому, что человек лишен таких свойств и способностей. Ибо трудно себе даже представить, что за кошмарное создание представлял бы из себя человек, способный ежесекундно к проявлению какого-то метафизического произвола, обреченный на такие свойства, как невоспитываемость, непредусмотримость в решениях и поступках, невменяемость, хаотическая капризность и способность в любой момент провалиться в невиданную бездну зла. Общение с такими людьми исключило бы всякое взаимное доверие, всякое воспитание, всякий правопорядок и всякое участие в прекрасном космосе и в Царстве Божием. Можно только благодарить Бога за то, что такая свобода не дана человеку. На самом же деле свобода есть сила и искусство человека определять себя самого и свою жизнь к духовности, согласно своему предстоянию, своему призванию и своей ответственности.[3]

Вот откуда у человеческого духа эта бессознательная, но твердая уверенность: «я мог иначе, но не сделал того, что мог»; или «я должен был совершить такой-то поступок и мог это сделать, но не сделал»; и соответственно: «многое в моем настоящем и будущем дается мне как готовое и неизменимое, но мой личный образ действий зависит от моего выбора и решения, а следовательно, от моего призвания и от моей ответственности». При таком самочувствии и понимании явления зовущей совести и явления укоряющей совести получают свой полный смысл и значение. Призывы совести бесконечно расширяют горизонт человеческих возможностей, утверждая в каждом из нас способность найти путь к совершенству и вступить на него, возвращаться на него после ошибок и падений и всегда созерцать ту даль, в которой это совершенство нас ожидает. А укоры совести освещают нам те ошибки и падения, которых мы не сумели избежать; мало того, они как будто указуют нам, почему именно эти ошибки и падения состоялись, каких именно усилий наша свободная воля не совершила «тогда» для того, чтобы избежать уклонений и неудач, и какие именно усилия надо осуществить «теперь», чтобы укрепить себя для будущего. И смысл христианского покаяния и исповеди «на духу» состоит именно в том, чтобы оживить в душе человека чувство предстояния, энергию совести, веру в свое призвание, жажду духовной свободы и чувство ответственности… Отсюда уже ясно, какое великое значение имеет «священное недовольство» человеческого духа самим собою, а также трезвое, честное, искреннее самоосуждение, которым «заболевает» духовно выздоравливающая душа.

Итак, предстоящий дух призван, а призванный человек ответствен; и в основе всего этого лежит дар к самоосвобождению, сообщенный человеческому духу свыше.

Как это просто, ясно и бесспорно: человеку подобает жить не состояниями, а действиями, и соответственно отвечать за эти действия. Дух человека подобен не воде, бесформенно растекающейся и безвольно плещущейся в своем ложе. Он не подобен и песку, пассивно лежащему, пока лежится, и пассивно осыпающемуся, «сползающему», когда потянет вниз. Дух человека есть личная энергия, и притом разумная энергия; разумная не в смысле «сознания» или «рассудочного мышления», а в смысле предметного созерцания, зрячего выбора и действия в силу духовно-достаточного основания. Так созерцал; так возлюбил; так выбрал; так совершил; и потому признаю это деяние моим деянием, поддерживаю его основания и мотивы и принимаю на себя ответственность за совершенное, признаю свою ошибку за ошибку, свое «заранее обдуманное намерение» признаю за таковое, – и вина моя, и заслуга (если она есть) моя, и последствия мною совершенного я готов нести и за

них отвечать. Неспособный к этому не может считаться ни деятелем, ни человеком с характером, ни морально зрелой личностью, ни творцом культуры, ни воспитателем, ни врачом, ни священником, ни солдатом, ни судьей, ни политиком, ни гражданином. Он есть робкий обыватель, трус, карьерист или ловчила. Он сам себе не доверяет; а потому и ему не следует доверять. В старой Руси про таких людей говорили: «бегун и хороняга». Да и что может быть более жалкое, чем безответственный чиновник или политик, имеющий полномочия, призванный действовать, обязанный решать – и мечтающий об одном: занести себе «на приход» свои жизненные успехи и уклониться от «расплаты» по закону об ответственности?..

Отсюда уже ясно, что необходимо различать предварительную ответственность и последующую ответственность.

Предварительная ответственность есть живое чувство предстояния и призванности и в то же время – живая воля к совершенству. Человек еще не совершил деяния; может быть, и не решил еще, что делать; может быть, даже и не избрал своей высшей ценности и не наметил своей высшей цели. Он только чует в себе активную силу и волевую энергию, он предвидит возможность и неизбежность будущих деяний – и связывает их намерением и внутренним обязательством осуществить «наилучше наилучшее». Он ставит себя перед Лице Божие и «предстоит»; он слышит призыв к совершенству и осмысливает его как «свою призванность»; он приемлет эту призванность и как бы «заряжает» свою душу волею к совершенству. Еще не свершив, он уже знает о своей ответственности. И это чувство своей ответственности – сразу дисциплинирует его, сосредоточивает его и вдохновляет.

Значение этой предварительной ответственности в культурном творчестве основополагающе и велико. Чтобы убедиться в нем, достаточно представить себе человека, который борется за какое-нибудь творческое дело и лишен предварительной ответственности. Что создаст живописец, который не знает ничего высшего и священного над собою, не чувствует своей призванности сказать верное, зоркое и значительное и нисколько не намеревается создать «наилучше наилучшее»? Он будет только тешить свою живописную похоть, писать кое-что и кое-как, капризничать, демагогировать или дразнить воображаемого зрителя, произволять и безобразничать. Не так же ли обстоит дело с поэтом, музыкантом, скульптором и архитектором? Именно отсюда возник весь современный «модернизм» в искусстве… Что познает безответственный ученый, который не связал себя внутренне аскетической клятвой – созерцать неутомимо, исчерпывать все возможные средства и пути для удостоверения, не щадить опытных усилий, не выдавать гипотезу за истину и утверждать с силою окончательности только достоверное и очевидное? Страшно и гадко думать о том, во что превратится у него научная культура. Чего можно ждать от безответственного судьи, не требующего ни верного правосознания от себя самого, ни очевидности в изучении факта, ни прозрения в душу подсудимого, ни точного знания закона? Такой судья, не ведающий ни предстояния, ни призвания, ни желания осуществить «наилучше наилучшее», создаст режим произвола, коррупции и кумовства. Безответственный политик есть интриган и карьерист, деятель, столь же отвратительный морально, сколь пагубный в общественном отношении; а между тем современная государственность кишит такими людьми – и в демократиях, и в тоталитарных государствах. Кто захочет лечиться у безответственного врача? Кто поручит своих детей безответственному воспитателю? Кто захочет принимать молитвы и таинства от безответственного священника? Какой полководец выиграет сражение, командуя безответственными офицерами, ведущими в бой безответственных солдат? Люди, не ведающие, что́ есть чувство предстояния и призванности и что́ есть воля осуществить «наилучше наилучшее», не способны творить настоящую духовную культуру. В этом приговор и им, и создаваемой ими лжекультуре…

Такова сущность, таков смысл ответственности, – и предварительной и последующей, – в деле творческого обновления и углубления грядущей духовной культуры. И тот, кто продумает это, тот примет на себя обязанность изъяснить это другим. А русский человек сразу поймет, что это всего важнее в деле возрождения России.

4. О ДУХОВНОСТИ ИНСТИНКТА

Кто желает воспитать ребенка, тот должен пробудить и укрепить в нем духовность его инстинкта. Если дух в глубине бессознательного будет пробужден и если инстинкт будет обрадован и осчастливлен этим пробуждением, то в жизни ребенка совершится важнейшее событие и дитя справится со всеми затруднениями и соблазнами предстоящей жизни: ибо «ангел» будет бодрствовать в его душе и человек никогда не станет «волком». Но если в детстве это не состоится, то впоследствии всякие уговоры, доказательства и кары могут оказаться бессильными, ибо инстинкт со всеми его влечениями, страстями и пристрастиями не примет духа и не сроднится с ним: он не будет узнавать и признавать его, он будет видеть в нем врага и насильника, услышит одни запреты его и всегда будет готов восстать на него и осуществить свои желания. Это будет означать, что инстинкт утверждает в

себе «волка»; он знать не знает «ангела» и отвечает на его появление недоверием, страхом и ненавистью.
В этом состоит секрет воспитания, его живая тайна. Но именно это и упущено нашей эпохой: последние поколения человечества разучились воспитывать в детях духовность инстинкта и тем открыли для них гибельные пути. Грядущая культура должна понять эту ошибку и обновить свое педагогическое искусство.
Не следует сводить человека к его «сознанию», мышлению, рассудку или «разуму»: он больше всего этого. Он глубже своего сознания, он проницательнее своего мышления, могущественнее своего рассудка, богаче своего разума. Сущность человеческого существа – утонченнее и превосходнее всего этого. Его определяет и ведет не мысль и не сознание, но любовь, даже и тогда, когда она в припадке отвращения судорожно преобразуется в ненависть и окаменевает в злобе. Человек определяется тем, что́ он любит и ка́к он любит. Он есть бессознательный кладезь своих воззрений, безмолвный источник своих слов и поступков; он есть подземный ручей своих пристрастий и отречений, своих мечтаний и страстей; он есть гармония и дисгармония своих «неодолимых» влечений. Именно поэтому сознательная мысль не проникает до главных и глубоких корней человеческой личности; и голос разума так часто бывает подобен «гласу вопиющего в пустыне»; и потому образование не воспитывает человека, а полуобразованность прямо развращает людей.
Воспитание человека начинается с его инстинктивных корней. Оно не должно сводиться к разглагольствованию или к проповеди; оно должно сообщить ребенку новый способ жизни. Его основная задача не в наполнении памяти и не в образовании «интеллекта», а в зажигании сердца. Обогащенная память и подвижная мысль – при мертвом и слепом сердце – создает ловкого, но черствого и злого человека. Вот почему образование без воспитания есть дело ложное и опасное. Оно создает чаще всего людей полуобразованных, самомнительных и заносчивых, тщеславных спорщиков, напористых и беззастенчивых карьеристов; оно вооружает противодуховные силы; оно развязывает и поощряет в человеке «волка».
Кто желает воспитать ребенка, тот должен пробудить и укрепить в нем духовность его инстинкта.
Но, говоря о духовности или о духе, не следует представлять себе какую-то непроглядную метафизику или запутанно-непостижимую философию. Дух есть нечто, что каждый из нас не раз переживал в своем опыте и что нам всем доступно; но только один переживал духовные состояния и содержания с радостным наслаждением, другой – с холодным безразличием, третий – с отвращением или даже со злобой. Дух не есть ни привидение, ни иллюзия. Он есть подлинная реальность, и притом драгоценная реальность, – самая драгоценная из всех. Тот, кто жаждет духа, должен заботиться об обогащении своего опыта; не о наполнении своей памяти из чужих книг и не об изощрении своего ума умственной гимнастикой; но о разыскании в непосредственной жизни всего того, что придает жизни высший смысл, что ее освящает. Один найдет этот творческий смысл жизни в природе, другой – в искусстве, третий – в глубине собственного сердца, четвертый – в религиозном созерцании. Каждый должен найти свою собственную дверь, ведущую в это царство; каждый должен найти ее сам и самостоятельно переступить через ее порог. Но это лишь первый шаг: это только вход, обретение, начало; это только первый луч восходящего солнца. И чрезвычайно важно, чтобы этот шаг был сделан в самом раннем детстве, ибо – это надо всегда помнить – все последующие шаги человека до известной степени подобны его первому шагу. Первый луч солнца должен озарить детскую колыбель: только тогда дитя станет «солнечным ребенком», а взрослый человек понесет через жизнь «лучезарное сердце».
Дух живет повсюду, где появляется или переживается людьми Совершенство; и даже там, где человек искренно стремится к совершенному или хотя бы к объективно-лучшему (Божественному), не достигая его и не осуществляя его. Мудрый римлянин был прав, когда сказал: «In magnis et voluisse – sat est».[4] В великом и божественном – весит и желание: сердцем хотел, но совершить не сумел, и зачтется благое желание по пасхальному слову Иоанна Златоуста.
Этот свет Совершенства в жизни природы и человека, это влечение к Божественному составляет духовный смысл природного естества и человеческой жизни; и притом не только в значении внешней и далекой «цели», но и в значении внутренней и реальной творческой причины. Совершенное может быть уподоблено не только дальней, зовущей звезде, но и сокровенной органической силе, творчески определяющей жизнь природы и человека. Кто увидит это в духовном созерцании, тот скажет: мир имеет смысл, потому что ему светит совершенство, и более того: мир имеет бытие, потому что в нем живет и его направляет стремление к совершенству. И всюду, где мы находим это, мы обретаем духовное измерение вещей и жизнь самого духа; переживая это, мы приобщаемся духу; приемля это, усваивая это и включая в свою жизнь, мы становимся сами духовными существами, «чадами духа». Без духа и вне духа мы не имеем истинного бытия, а остаемся, по слову Гоголя,

«существователями»…
Но если кто-нибудь принял в себя начало духа и начал духовную жизнь, то перед ним открываются новые горизонты и он вступает в новый план бытия. Он убеждается в том, что дух есть «воздух» и «хлеб» человеческой жизни, ибо человек задыхается и изнемогает без него. Дух есть дыхание Божие в природе и в человеке; сокровенный, внутренний свет во всех сущих вещах; начало, во всем животворящее, осмысливающее и очистительное. Он освящает Жизнь, чтобы она не превратилась в мертвую, невыносимую пустыню, в хаос пыли и в вихрь злобы; но он же сообщает всему сущему силу, необходимую для того, чтобы приобщиться духу и стать духовным. А это и есть самое важное в воспитании.
Человеку от природы присуща способность распознавать и отличать духовное, а также склонность принимать дух и включать его в свою жизнь. Из этой способности и из этого тяготения исходили все великие воспитатели человечества; на них они строили, к ним они взывали, их старались оживить и укрепить. Именно их имел в виду Платон, истолковывая земную очевидность как «припоминание» идей, предвечно созерцавшихся человеком в мире сущего бытия.
Где-то в глубине человеческого бессознательного находится то «священное место», где дремлет первоначальное духовное естество инстинкта. В детстве его сон нежен и чуток; душа еще не обросла тою грубою «корою», которая будет образовываться и нарастать на ней в течение дальнейшей жизни; душевная оболочка у ребенка еще тонка и чувствительна. Подобно алмазу в хрустальной чаше, покоится в младенческой душе дух инстинкта и как бы ждет луча благодати, чтобы взыграть светом; или, подобно ребенку в колыбели, ожидает он, чтобы Божие солнце разбудило его своим светом. И это должно совершиться; и это должно повторяться, чтобы дух человека пробудился раз навсегда для всежизненного бодрствования и не заснул бы уже никогда.
Маленький ребенок прозябает в непосредственной беспомощности и живет потребностями своего маленького организма, в забвенной дреме инстинкта. Более сильные и глубокие впечатления извлекают его из этого сумеречного состояния, иногда толчками, и проясняют сначала его сознание, а потом и самосознание. Этого «пробуждения» не следует ускорять нарочно и искусственно. Но как только эти проблески сознания начнутся, необходимо позаботиться о том, чтобы пробуждающие впечатления имели характер благостный и духовный, чтобы они исходили от духа и будили в младенческой душе духовные состояния. Впоследствии у ребенка будет много разных впечатлений, и острых, и тяжелых, и болезненных, и даже мучительных: будут и настоящие духовные травмы (ранения). Но первые детские ранения не должны потрясать инстинкт, не пробуждая его духовную глубину. Детский инстинкт, раз потрясенный, во всей своей беспомощности, грубым и жестоким впечатлением, раненный в своей слепоте, может пережить неизлечимую или почти неисцелимую душевную судорогу, если у него не будет необходимой и драгоценной духовной опоры. Поэтому педагогически так важно, чтобы духовность инстинкта была пробуждена до этих неизбежных потрясений и ранений.
И вот воспитатель (мать или отец) имеет великую и ответственную задачу пробудить детскую душу при первой возможности лучом божественной благости и красоты, любви и радости, чтобы она очнулась из своих забвенных сумерек, от чувственного наслажденчества и пережила благостное пробуждение. Ласковый взор и голос матери уже начинают это дело. В глубине инстинкта должно открыться духовное око, чтобы, трепеща от счастья, воспринять Божий луч, идущий к нему из мира, и влюбиться в его сияние; чтобы душа раз навсегда поверила в благую силу мироздания и восхотела новой красоты, новой радости и новой гармонии; чтобы она полюбила божественное и уверовала в Бога. Ребенка надо приобщить к божественному счастью на земле как можно раньше; тогда, когда он еще ничего не знает ни о горечи жизни, ни о зле мира; когда душа его не испытала еще ни жестокости людей, ни суровости природы; когда он полон естественной доверчивости и богат первозданной чистотой.
В мире есть чудесные сочетания красок – естественно-гармоничные, для вкуса безупречные, нежные и разнообразно богатые; надо показать их ребенку и радовать его ими. В мире есть изумительные, одухотворенные светотени, пленившие когда-то Леонардо, венецианцев и Рембрандта; надо, чтобы веяние их коснулось ребенка и дохнуло на него. Есть простые и нежные мелодии[5] – их так много в русских народных песнях, колыбельных, свадебных и хороводных, – которые ребенок должен полюбить еще в колыбели. Мать, поющая их своему младенцу, начинает его истинное воспитание: это дух ее инстинкта обращается к духовности его инстинкта, рассказывая ему о возможности любви и счастья на земле. Какие чудесные колыбельные были пробуждены этим пением в младенческой душе и потом возвращены миру в композициях великих музыкантов! Душа засыпающего ребенка пела эти песни вместе с матерью и воспринимала сквозь них первозданное пение ангелов (Лермонтов); и потом унесла их в жизнь, как благословение материнской любви.

Простой народ верит, что бывают люди с «злым глазом», которые могут «сглазить» ребенка, повредив ему душевно, духовно и телесно. В этом поверий кроется доля живой природной мудрости. В самом деле, бывают человеческие глаза, полные ненависти и зложелательства, магнетически перенапряженные и гипнотически сосредоточенные: они действительно в состоянии психически ранить впечатлительную, доверчивую и ничем не защищенную детскую душу. Заряд злобы бывает у таких людей слишком велик; внушающая сила слишком действительна; младенческая душа слишком обнажена, а духовность инстинкта еще не пробуждена и не обороноспособна. Поэтому правы те матери, которые ограждают своих детей от таких противодуховных, душевно ранящих и разлагающих взоров; ибо злоба людская на самом деле гораздо более распространена и могущественна, чем думали доселе духовно неопытные люди.

Но если ребенку минуло три года, если он начал наблюдать внешний мир и чувствилище его открылось для новых восприятии и переживаний, то надо дать ему целое богатство духовных впечатлений. Надо направить его внимание на самые красивые и изящные явления природы и на их таинственную целесообразность. Рано еще затруднять его «объяснениями»; достаточно, чтобы он заметил совершенство, скрытое и явленное в мире. Пусть залюбуется красотою бабочек и цветов, их нежными тонами, их изысканной, но хрупкой формой; пусть всматривается в величавое и легкое, а иногда грозное и глубокое зрелище облаков; пусть вслушивается то в рокот соловья, то в ликование иволги, то в ласковые переливы жаворонка; пусть полюбит молчаливый гимн бора, трепет осины, шелест березы, ропот дуба; пусть всмотрится в добродушную задумчивость коровы и научится ласково говорить с ней; пусть оценит своевольный ум коня, лукавое изящество кошки, верный взгляд собаки и ночной клич петуха. Пусть почует тайну природной жизни: дивную судьбу зерна, величие грозы, красоту инея, строгость мороза и ликование весны. И пусть понесет в сердце благоговение, чуткость и благодарность.

Ребенок должен как можно раньше почуять реальность чужого страдания и научиться вчувствоваться в него, чтобы жалеть, беречь и помогать и идти на деятельную помощь. Необходимо найти прямой и близкий путь к его сердцу и научить его хотеть добра и стыдиться зла. Пусть навертываются у него слезы на глазах от русской жалующейся песни; пусть он научится умолкать при звуках серьезной и глубокой музыки. После пяти-шести лет он должен услышать о героях своей страны и влюбиться в них; он должен научиться «стоять» вместе с ними, бороться, побеждать и не искать награды. Надо, чтобы он научился вместе с Пушкиным благодарить Бога за то, что родился русским, и вместе с Гоголем – радостно дивиться на гениальность русского языка. Чем раньше он начнет скромно, но уверенно гордиться своей русскостью, тем лучше.

Ребенку необходим поток мужественной и братски-товарищеской любви от отца и женственно-ласковой, религиозно-совестной любви от матери. Не надо преувеличений; но в сердце его должна навсегда расцвести почтительная и нежная благодарность к родителям, пробудившим его сердце и укрепившим его духовность. Он должен открыть свое сознание голосу совести и научиться внимать его бессловесным призывам к совершенству; и, что важнее всего, он должен несколько раз по собственному почину отдаться этому голосу и осуществить в жизни его требования, чтобы познать совесть не только через угрызения за грех, но через творческое осуществление ее зова.

И после каждого духовного пробуждения, восприятия, потрясения и свершения надо говорить ему о том, что есть благостный Господь, знающий его и любящий его: так, чтобы ему самому захотелось молиться; и тогда научить его лучшим и кратчайшим молитвенным словам и несколько раз помолиться при нем и с ним вместе – огнем своего взрослого сердца. Потом надо показать его сердцу Христа, Сына Божия. И сердце его узнает Его – само, безошибочно и навсегда.

Так пробуждается в ребенке его инстинктивная духовность и «ангел» входит в сокровенную глубину его сердца. И, что особенно важно, это чтобы эти беседы и восприятия не превращались в скучные уроки, набивающие голову и принудительные для инстинкта; напротив, надо, чтобы из каждого такого переживания инстинкт извлекал свою сущую, искреннюю радость. Инстинкт должен радоваться духовному совершенству, встречать его умилением, благодарностью, любовью. Пусть «волк» инстинкта воззрится на духовного «ангела», и встретится с Его взором, и узнает в Нем свое собственное высшее и лучшее естество, и восчувствует к нему доверие и благодарность, и привяжется к нему любовью и верностью: ибо «ангел» взирает кротко и благостно и «волк» должен получить от него этой благости и кротости. Тогда они найдут друг друга и соединятся на всю жизнь. «Волк» предоставит в распоряжение «ангела» всю свою инстинктивную силу. Он будет нести радостно свое служение, и глаза его не будут сверкать злобой. А «ангел» не будет горестно и беспомощно плакать о погибшем человеке.

Киплинг рассказывает, что когда животные в Индии ищут друг у друга помощи, то они приветствуют друг друга кличем «мы с тобою одной крови»; и это заклинание всегда оказывается действенным и отказа в помощи не бывает: ибо звери и птицы признают высшее, объединяющее их кровное родство. И вот подрастающий ребенок должен пережить дважды соответствующее духовное сродство. Сначала – до встреч «волка» с «ангелом»: «ангел, я твой преданный волк!»; «волк мой, а я – твое собственное духовное естество»… А потом – в обращении к Богу: «Я есмь искра Твоя, о священное Пламя мира»; или по-христиански: «Отче, я Твой верный и благодарный сын»… Тогда человек утвердит себя в духовности и станет религиозно-цельным.

Это и есть важнейший акт воспитания. Ибо «воспитать» значит сделать из ребенка не преуспевающего человекоугодника, а духовно-зрячего, сердечного и цельного человека с крепким характером. А для этого надо зажечь и раскалить в нем как можно раньше духовный «уголь»: чуткость ко всему Божественному, волю к совершенству, радость любви и вкус к доброте. Это откроет ему путь вверх и даст ему духовную свободу. И тогда может однажды настать тот прекрасный день, когда им действительно овладеет сверхличное пламя духа и он явится людям как Божие орудие – как светящий и призывающий факел своего народа.

Итак, дух и инстинкт совсем не противоположны друг другу. Напротив, дух есть высшее естество инстинкта, а инстинкт есть элементарная, но органически-целесообразная сила самого духа. Раздвоение их, а тем более противоборство – болезненно, опасно и совсем не соответствует великому замыслу Божию. Дух человека совсем не призван к тому, чтобы оставаться мертвой возможностью или же отвлеченным, неосуществляющимся долженствованием: безжизненным законом над бездной греха. Дух человека призван к живому творчеству; он должен будить, побуждать и вести человеческий инстинкт, в том смысле, как выразился однажды римский оратор Квинтилиан: «instinctus divino spiritu» («побуждаемый божественным Духом»)…[6]

Инстинкт же не должен предаваться своим разнузданным влечениям. Он призван нести бремя мира и служить осуществлению божественной ткани в пределах мироздания. Он должен принять эту задачу свободно и творить с радостным усердием. Ибо человеческий дух есть дух инстинкта; а человеческий инстинкт есть инстинкт духа. И может быть, близится счастливое время, когда люди поймут этот закон, примут эту истину и пойдут по этому пути. От этого зависит все будущее нашей культуры.

5. СПАСЕНИЕ В ЦЕЛЬНОСТИ

Человек, находящийся в состоянии внутреннего раскола, есть несчастный человек. Он остается несчастным и тогда, если ему в жизни везет, если ему все удается и каждое желание его исполняется. То, что ему удается, не радует его и не дает ему удовлетворения, ибо одна часть его существа не участвует в этом удовлетворении. Исполнение его желаний тоже не дает ему радости, потому что он и в самом желании своем остается расколотым и не способным к цельной радости. Никакое внешнее счастье не делает его счастливым, потому что он внутренно несчастлив от своего распада. Никакой жизненный успех не дарует ему ни наслаждения, ни успокоения. У него не хватает внутреннего органа для того, чтобы быть счастливым. Этот внутренний орган называется гармонией, согласованной тотальностью (т. е. целокупностью) влечений и способностей, единением инстинкта и духа, согласием между верой и знанием.

Человек, несущий в себе внутреннее расщепление, не знает счастья. Его ждет вечное разочарование и томление. Он обречен на вечную и притом безнадежную погоню за новыми удовольствиями; и везде ему предстоит неудовлетворенность и дурное расположение духа. Добиваясь и не получая, требуя и не находя, он все время ищет нового, неиспытанного, но приятного раздражения, и всякое «обещание» обманывает его. Он начинает измышлять неслыханные возможности; он утрачивает вкус, искажает искусство, извращает чувственную любовь; и вот он уже готов воззвать ко всем безднам зла, перерыть все углы и закоулки порока, чтобы раздобыть себе новое наслажденьице или, по крайней мере, раздраженьице и испробовать какую-то небывалую утеху и усладу. Ему нельзя помочь; ему трудно помешать; он должен выпить до дна чашу своей немощи и своих заблуждений, что ныне и происходит в мире… В том виде, который ему внутренно присущ, он не найдет разрешения, цельной и успокаивающей радости; и никогда не постигнет, что такое блаженство. Тот, кто обречен на частичное самовложение в жизнь, тот проживет на земле в сумерках уныния: его не обрадует никакая радость, и солнце не даст ему своих лучей.

Было бы великой ошибкой толковать это вечное недовольство как знак более утонченной и благородной натуры, которая не может удовольствоваться банальными жизненными путями и обычными, «земными» удовольствиями. Внутренний раскол, душевная расщепленность, духовная нецельность совсем не есть какое-то «высшее достижение», перед которым надо только преклоняться и которому надо подражать;

напротив, это есть болезнь духа, которую необходимо преодолеть, от которой надо исцелиться. Хотя психологически нетрудно понять, что такие расщепленные, и, в сущности, духовно больные, люди любят воображать и изображать себя как неких «сверх-человеков»… Нам нисколько не импонирует, когда герои лорда Байрона выступают с таким суверенным самочувствием, как если бы их меланхолия или ипохондрия превращала их в каких-то «полубогов». Напрасно было бы преклоняться перед Фаустом как перед сверх-человеком только потому, что Гете сообщает о «живущих в его груди двух душах, желающих оторваться одна от другой», и потому, что он решает подчиниться дьяволу, обещающему засыпать его земными наслаждениями. Люди восемнадцатого и девятнадцатого веков имели мужество осознать и громко выговорить унаследованный ими душевно-духовный раскол. Но это мужество внушило им самоуверенность, верховную гордость и вызывающую манеру держаться; и в результате внутренний раскол выдавался и принимался за некое высшее достижение, за признак сверх-человека и новой эпохи. Разногласие между верою и рассудком существовало в Европе уже давно. Но в дальнейшем постепенно сложилась апология разложения и распада, неприкрытое восстание против Бога и всего Божественного, систематическое опустошение жизни от всякой святыни и категорический разрыв с христианством. В конце концов этот разрыв с христианством был выражен у Ницше тоном откровенной ненависти и вызывающего упоения и нашел себе практическое осуществление и завершение в событиях последних десятилетий (1917–1953).

Человек, душевно расколотый и нецельный, есть несчастный человек. Если он воспринимает истину, то он не может решить, истина это или нет, ибо он не способен к целостной очевидности. Если истина вступила в его сознание, то его чувство молчит и не отзывается на нее и он отвертывается от нее, объявляя ее «неочевидным содержанием сознания», каковых в жизни имеется многое множество. Про него можно сказать, что он не умеет владеть своим достоянием и не способен принять приобретенное им богатство. Увидев Свет, он знает, что это «свет», но он не созерцает радостную светлость этого света и остается к нему безразличным. Так он теряет веру в то, что человеку вообще может быть дана тотальная очевидность. Он не желает признать ее и у других и встречает ее иронией и насмешкой; и, чтобы закрепить эту иронию, он выдвигает доктрину, согласно которой человек вообще не способен к достоверному знанию (агностицизм) и обречен на то, чтобы воспринимать все лишь относительно и признавать «релятивно» (релятивизм). Отсюда возникает систематически воспитываемое и поддерживаемое малокровие познания, принципиальное «ни-да-ни-нет», т. е. бегство от очевидности. Вот почему расколотый и нецельный человек оказывается духовно обессиленным человеком. Он не способен иметь убеждения. В вопросах, требующих исповедания, он немощен и беспомощен. Перед лицом истины он расслабленный человек.

И таким он является во всех областях духовной культуры. Так, например, проблему добра и зла он подменяет вопросом об относительно полезном и сравнительно вредном (утилитаризм) и решает этот вопрос в зависимости от случайных, рассудочных соображений. А в глубине души он считает, что «умные люди» вообще не занимаются этим пустым и компрометирующим вопросом – о зле и добре.

Если ему приходится говорить об отечестве и патриотизме, о правовой свободе, о справедливости, то он и здесь становится на «умную» точку зрения релятивизма, и притом потому, что его патриотизм и его правосознание настолько же расколоты, нецельны, неискренни и ослаблены, как и его очевидность.

Религии он вообще не имеет, и религиозность его мертва, потому что вера требует от человека целостной очевидности сердца и не удовлетворяется никакими частичными компромиссами и никакой тепловато-безразличной терпимостью; все, что он может найти в себе для религии, это «вежливое невмешательство в чужие воззрения», но за этой «вежливостью» на самом деле скрывается презрение к обскурантам, и это «невмешательство» может в любой момент превратиться в агрессивную «борьбу с предрассудками, суевериями и клерикализмом».

Единственная область духовной культуры, которую он готов поощрять, это искусство, особенно если оно забывает о своем великом служении и стремится угождать его капризам. Но тогда оно должно отречься от своих здоровых и глубоко укорененных традиций, требующих целостного созерцания и вдохновения, – и вступить на путь частичных, условных и относительных замыслов: искусство должно заняться своим чувственным нарядом и как можно заманчивее, как можно эффектнее разукрасить его; оно должно предаться опьяняющему «импрессионизму», или дико-невиданному «футуризму», или вымученному, острому и пряному «модернизму»; чтобы получить успех и признание, оно должно стать наружно-внешним, притязательным, экстравагантным, оно должно вызывать у пресыщенной и безразлично-сонной публики нервную щекотку…

Все это создает выродившуюся культуру, и в основе этой выродившейся культуры лежит выродившаяся жизнь, душа расколотая, духовно-бессильная, малокровная и

нервно-растрепанная, беспочвенная, неукорененная и отвергающая все безусловное и окончательное. Расколотый человек всю свою жизнь балансирует между соображениями о пользе, которые он обозначает словом «разум», «разумный», и минутным капризом, которому он так охотно предается под именем «настроения». Если ему удается держать кое-как равновесие между тем и другим, то его существование становится выносимым; если это ему не удается, то он становится жертвой ипохондрии и ведет жалкое существование. Он вообще не знает, что начать, и главной целью его становится обогащение; все иное, высшее – недоступно ему, ибо более глубокие источники и настоящие святыни жизни не существуют для него. Отсюда эта беспредметная тоска или скука жизни, которая владеет современным «цивилизованным», но культурно и духовно опустошенным человеком.

Если он любит, то он всегда не уверен в своей любви, ибо и она, как и все иное в нем, односторонняя и частична. А если он не любит, то и нелюбовь его столь же прохладна и творчески бессильна. Пророчески сказано об этом у Лермонтова:

И ненавидим мы, и любим мы – случайно,
Ничем не жертвуя ни злобе, ни любви,
И царствует в душе какой-то холод тайный,
Когда огонь горит в крови…[7]

Если такой человек говорит «да», то это половинчатое «да», из-за которого темным и подозрительным призраком смотрит «нет»; но если он отрекается и говорит «нет», то и отречение его столь же условно, относительно, срочно, не окончательно и недостоверно. Его слова следует воспринимать как звуки, ибо смысл этих слов почти всегда многозначен, а их духовная ценность всегда неуловима и проблематична. Во всяком жизненном положении он может сказать и поступить «так», но может – и совсем иначе: ибо слова и решения его духовно беспочвенны и высшей необходимости в жизни он не знает; да и связывать себя ему нет охоты. Он лишен важнейшей и драгоценнейшей основы духовного характера: единого, единственного, всеобъединяющего центра жизни.

Зрелый духовный характер подобен укрепленному городу, в центре которого находится кремль: здесь построен храм Божий, с алтарем, на котором горит неугасающее пламя. Это и есть священный центр города, откуда заимствуют свой огонь все семейные очаги «огнищан». Здесь все соединяется и все объединяются; отсюда исходят все важные решения; отсюда излучается центральная воля, все организующая и упорядочивающая; здесь сосредоточивается сила, здесь вооружается верность, отсюда светит разум.

Расколотый человек совсем не может себе и представить такой личный характер, такой жизненный ритм. Напротив, ему нравится то внутреннее несогласованное «многосмешение», в котором протекает его жизнь, – эта собственная дисгармония, эта ничем-не-связанность, этот капризный произвол, – и он объявляет эту душевно-духовную смуту «высшей дифференциацией духа»… В нем сосуществуют рядом несколько «центров»; он ни одному из них не обещает верности и воображает поэтому, будто он выше всякой измены и всякого предательства. Как только один из этих «полу-центров» (или, вернее, одна из этих «точек зрения») оказывается неудобным или неудовлетворительным, так он «переезжает в другую квартиру» и опять устраивается с удобством, ничем не связанный, ко всему готовый, ни во что не верующий, ничего не любящий, скорый и легкий в предательстве и всегда самодовольный. И при всем том он совсем не понимает ни своего действительного состояния, ни своей великой беды; и если бы кто-нибудь стал объяснять ему его недуг, он не захотел бы ни слушать, ни верить; а если бы Божий луч осветил его душу, то он зажмурился бы, чтобы не увидеть правду.

Этот раскол в современном человеке был с самого начала чреват грядущим разложением. Он возник в ту эпоху, когда европеец отверг авторитарную религию и предался свободному исследованию и свободной мысли. Свободное исследование было бы вполне соединимо и согласуемо с христианской религией – путь, на который указал Василий Великий в своем «Шестодневе». Человеку с самого начала было дано и указано от Бога воспринимать божественное откровение не только из Священного писания и не только из личного духовного делания – из любви, из совести, из молитвы и из культурного творчества, – но еще и из созерцания богосозданной природы и твари, в сокровенном существе которой заложен великий замысел ее Творца. Однако исторически развитие пошло иным путем. Начался процесс секуляризации; католическая церковь не питала доверия к свободно исследующему человеку и стремилась ограничить или совсем подавить эту опасную свободу; а исследователи стали испытывать церковную опеку как неудобоносимое бремя. И вот люди обратились к природе с напряженным любопытством и с естественной любознательностью, но отвернулись от церковного христианства; а раз отвернувшись от христианства, они отвергли и его дары – и прежде всего христианскую любовь и сердечное созерцание. Так, созерцание было заменено наблюдением, а наблюдение стало светским, близоруким и самодовольным; оно велось с величайшим усердием и

подъемом, но в обращении к чувственному миру оно стало уходить все дальше и дальше от христианского духа. Оно освобождалось все больше от религиозных предпосылок, признавая их «эмпирически ненужными гипотезами» или даже прямыми помехами, и поставило себе задачу – все понять и все объяснить без Бога. Наблюдающее изучение природы не нуждалось уже в понятии «Бога» как объясняющей гипотезе и признало наконец, что его «объяснения» оказываются тем более удачными и успешными, чем последовательнее оно отказывается от идеи Божественного вообще. И только философы пытались еще говорить о Боге; однако и у них эти высказывания становились все более неопределенными и скудными, ибо рационализм все повышал свои запреты и все строже требовал «последовательности», постепенно превращая идею Бога то в идею «субстанции вообще», то в идею «духа» вообще, избегая касаться вопроса об «абсолютном» и впадая в скудоумный релятивизм.

Так сердечное созерцание христианства и боголюбивый и боговзыскующий созерцательный разум превратились постепенно в отвлеченный рассудок, в сухое, наблюдающее и анализирующее мышление, в «индукцию», оторванную от созерцания сердца и вчувствования. Этот метод вытачивался сначала в изучении внешней, материальной природы, а затем был перенесен на внутренний, душевно-духовный мир; и последовательное применение его не могло не повести к оскудению и опустошению знания. Внешние связи чувственного мира успешно устанавливались и оказывались практически полезными; самодовольное наблюдение оправдывалось с точки зрения техники, получавшей все большую самостоятельность в отрыве от истинного и глубокого познания. Но внутренние реальности духа и утонченная «ткань» человеческой души упускались из виду в отвлеченно-холодном трактовании, столь характерном для механистического мировоззрения. Расколотый человек вырабатывал раскалывающую доктрину, неспособную ни узреть, ни осмыслить тайну жизни и мировой разумности и растеривал последние остатки своей духовности в бессердечном и поверхностном «самонаблюдении»… Его собственное естество сводилось постепенно к анализирующему рассудку, к беспочвенной и развязанной воле и бездуховному инстинкту самосохранения. Все иное иронически отвергалось: и «суеверная» вера, и творческое созерцание с его «беспочвенной фантастикой», и только иногда там и сям можно было подметить ложный стыд, когда заглохшее и осмеянное сердце давало знать о себе.

Таков современный культурный кризис. Это кризис нецельного духа, расколотого, расщепленного человека. Чем раньше люди постигнут это, тем лучше. Чем мужественнее, чем отчетливее и строже это будет формулировано, принято во внимание и продумано до последних выводов, тем скорее начнется преодоление кризиса. Человек должен воссоединиться в своем собственном существе. Он должен собрать распавшиеся части и члены своего естества и спрыснуть их «живой водой» исцеления, наподобие того, как это описывается в русской народной сказке. Но здесь воссоединится не тело человека, а его дух – и для этого исцеления он должен выстрадать и вымолить себе благодать Святого Духа.

Человеческий ум должен найти путь к вере – не к суеверию, запугивающему нас, и не к пустоверию, проявляющему нашу глупость, – а к созерцательной вере, разумной и светлой, к вере «достаточного основания». Человек должен победить в себе ложный стыд и не стыдиться своего сердца. Мысль должна примириться с творческим, предметным воображением и опять стать созерцающей, интуитивной и прозорливой. Аутистическая фантазия должна пройти через школу предметной интенции и духовной ответственности. Формальная и разнузданная воля должна подчинить себя сердцу и совести… Тогда рассудок научится взирать и видеть и станет разумом; а созерцающий разум станет повиноваться сердцу, так что все пути будут вести к сердцу и исходить из сердца. Ибо сердечное созерцание, совестная воля и верующая мысль суть три великие силы нашего будущего, которые справятся со всеми проблемами, неразрешимыми как для бессердечной свободы, так и для противосердечного тоталитаризма. Для разрешения их нужен цельный, целостный, исцеленный человек, заповеданный нам Евангелием.

И тот, кто взглянет вдаль духовно-отверстым оком и воззовет к нашему будущему с надеждою, тот прочтет над тесными вратами нашего будущего простой и мудрый призыв: «Ищи исцеления!»

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

6. ХВАЛА ТРУДУ

У людей с незапамятных времен есть вожделенная мечта, сказочный сон о «блаженной» стране, где царит изобилие во всем, где «текут молочные реки в кисельных берегах» и где не надо работать: «там, говорят, все дается человеку само собою, без всяких телесных и духовных усилий; стоит только захотеть, и желание уже исполняется в полное удовольствие; счастливые бездельники все время наслаждаются; всюду валяются ленивые дураки и предаются своим хотениям невозбранно»… Эта ребяческая и, скажем прямо, порочная мечта лелеется человечеством давным-давно; она не изжита и поныне. Жизненный идеал сводится

здесь к обеспеченному, наслаждающемуся ничегонеделанию. У всех одно-единое призвание навеки – убивать время ленью. Ненужное накопление жизненных сил без достойной затраты их и без радостей труда. Бессмысленное прозябание и растрата жизни без любви и служения. Всеобщее тунеядство в мировом масштабе. Внутреннее оскудение от внешнего изобилия. Пассивное, пресыщенное отупение вместо творческого подъема. Подмена радости – наслажденчеством. Измена жаждущему, преодолевающему, созидающему духу. Вожделенное сновидение полуживотного. Презренная утопия, достойная лягушек в тинистом болоте. Отречение от собственного духовного достоинства. Вызов, обращенный к Богу…

Давно пора человечеству порвать с этой глупой мечтой! Давно пора понять, что жизненный идеал обретается где-то в совсем иных сферах. Потому что жизнь без труда – позорна и несчастна, а честный труд есть уже наполовину само счастье; да, конечно, только наполовину: ибо цельное счастье – не только в честном, но, сверх того, еще и любимом, и вдохновляющем труде над созиданием Царства Божия. В течение последнего века человечество много страдало от безработицы и накопило жизненный опыт, который давно пора продумать и осмыслить. Пора признать и выговорить, что безработица как таковая, пусть обеспеченная или даже затопленная частными и государственными субсидиями, унижает человека и делает его несчастным. Уже одно это томительное чувство, что «я в жизни не нужен» или что «мир во мне не нуждается», что я выброшен из великого процесса мирового труда и стал социальной пылью, лишней и ветром гонимой пылью мироздания, – пробуждает в сердце здорового человека всевозможные ощущения личной несостоятельности, приниженности, обиды и горечи. Если кто-нибудь желает работать – а это желание присуще всякому здоровому человеку – и при каждой попытке найти работу наталкивается на жесткое и холодное «нет», то им, естественно, овладевает безнадежность. Он видит, как другие работают и зарабатывают себе пропитание, он чувствует себя сопричисленным к социальному отбросу, и в душу его вселяется гнев или затаенная злоба; он предается зависти и ненависти и начинает помышлять о мести и революции.

Как томительна жизнь в этом вынужденном ничегонеделании!.. Весь Божий день проходит в бессмысленной пустоте и мертвой скуке, так что в конце концов человек радуется любому заполнению тянущихся часов, каждому, даже самому вульгарному развлечению, всякому политическому или уголовному приключению… Трудно себе представить, какие беспочвенные «идеи», какие глупые замыслы, какие фантастические или прямо чудовищные жизненные комбинации проносятся день и ночь в воображении целодневного лентяя; и многое из этого больного вздора начинает ему казаться «возможным» и осуществимым; многое становится для него прямым искушением, борьба с которым требует от него выдержки и мужества… Униженный до праздношатайства, привыкший к лени и пустомыслию, человек незаметно начинает смотреть на жизнь с безнадежностью, на честную работу с отвращением и на правопорядок с презрением. И эта печальная реакция на безработицу является, в сущности говоря, психологически понятной – и здоровой... Ибо здоровому человеку труд нужен как воздух, как уважение к себе самому, как радость, как молитва. Представим себе жизнь здорового человеческого организма. В этом живом центре энергий, в этом пожизненном «perpetuum mobile» непосредственно образуются и скапливаются химические, электрические, физиологические и психологические заряды. Отрекающийся аскез может снизить их размеры и их интенсивность, но их создание и их «давление» не может быть ни остановлено, ни прекращено на протяжении всей жизни. Эти материальные и инстинктивные скопления энергии, эти нервные напряжения, эти волевые притязания, эти волны чувства и это гудение мыслей – все это должно быть устроено, организовано и истрачено в жизни человека. Все это желает быть «отреагировано», целесообразно «израсходовано», осмысленно изжито: все это требует благодетельного и устрояющего труда. Ибо труд дает заряду – разряд, он освобождает, «распрягает», уравновешивает, успокаивает. Прилив нуждается в отливе, для того чтобы отлив снова уступил место приливу. Безработная социальная «пыль» должна быть вновь принята и включена; она должна снова включиться в работу; иначе она станет жертвою порока и преступления, орудием политических приключений, двигателем революций и войн…

Человеку от природы присуща здоровая потребность – быть чем-то в жизни, что-то весить на весах бытия, пользоваться признанием и уважением. Это естественно и совсем не предосудительно, если только эта потребность не превращается в назойливое тщеславие или в больное властолюбие. Каждое человеческое существо, как центр личной энергии и как духовный индивидуум, имеет притязание и право проделать в жизни известный искус, испытать свои силы и «оправдаться» своими достижениями: ибо тот, кто оправдался, кто «показал» себя с лучшей стороны и доказал всем свою положительную силу, тот привлечет к себе общее уважение и сам установит свой жизненный вес. А для этого есть только один путь: трудиться и трудом своим создавать новое и благое. В этом и состоит жизненное испытание;

именно этим человек «оправдывает» свое земное бытие. Здесь мало «мочь» – здесь надо совершить и создать; мало говорить пустые слова «я бы мог, если бы захотел» – надо захотеть и осуществить, «показать себя на деле»… И как только человек перестает «мечтать» и «болтать», как только он «облекает» (инвестирует) свою личную энергию в созидание, так труд его дает плоды и он сам оправдывается на деле. Каждый из нас должен иметь за собою такие выдержанные испытания, такие понесенные и оправдывающие его труды. Каждый из нас должен утвердить себя в жизни; он должен быть «признан»; он должен приобрести спокойную уверенность в себе; он должен показать, что он способен прокормить себя и свою семью. Отсюда у людей возникает некое инстинктивное уважение к самому себе, которое в дальнейшем присоединится к чувству собственного духовного достоинства. Смешны бывают те люди и те народы, которые проявляют это чувство в наигранной важности, в «сверхпочтенном» одевании и в чванливых манерах; и когда видишь это, то невольно думаешь о том, что здесь «показное» прикрывает скрытые пробелы и недостатки «внутренно-подлинного»… Ибо надо уметь преодолевать до невесомости и свою жизненную борьбу и свое мнение о себе самом…

Так или иначе, но всякий истинный успех на земле есть успех труда.

С этого и начинается то, что следует называть «счастьем труда»; но только начинается. Это счастье состоит, далее, в общении с природою. Так обстоит дело и у земледельца, и у лабораторного ученого, у железнодорожного сторожа, и у художника, у матроса и у врача, у фабричного рабочего и у священника. Каждый из них по-своему вступает в общение с природой. Каждый учится у нее, каждый старается приспособиться к ней, использовать ее для своих целей, как бы уговорить ее. И это прислушивающееся уговаривание природы, это овладевающее ею обучение у нее, это осторожное одолевание и подчинение ее является для каждого духовно живущего человека одною из радостей в земной жизни. Бережно и внимательно вступает человек в соприкосновение с окружающей его материализованной мудростью, пытается предусмотреть ее возможные комбинации и по-новому воспользоваться ими на пользу человека. И бывает так, что она его умудряет, а иногда и наказует, а иногда она и награждает его сторицею. В труде природа и культура «братаются» друг с другом, а человеку выпадает на долю радость посредника в этом вековечном процессе. Мир вращается не зря, не бессмысленно: это есть внутренняя борьба за совершенствование, и это выражается уже в том, что человеку дается возможность познавать устройство мира и до известной степени направлять его развитие. Человеку дается счастье вкладывать свои трудовые и творческие силы в этот процесс борьбы и страдания, и притом все в большем размере и с бóльшим успехом. Ибо в мире дремлют еще необозримые, непредусмотримые возможности культурного повиновения.

Таким образом, труд позволяет «берущему» человеку не только «брать», но и «давать». Каждый человек «берет», и у природы, и у других людей – уже ребенком – и до последнего вздоха. Каждый нравственно чуткий человек знает об этом и живет с этим чувством всю свою жизнь. Поэтому в нем и не исчезает потребность – достойно отплатить за полученные дары и превратить одностороннее «получение» в благодарный «обмен дарами». Получение обязывает; «оплата» облегчает душу и снимает с нее бремя. Но интенсивнее всего человек «дает» тогда, когда он отдает себя или предается, а именно в любви и в труде. Недаром сказаны слова «о поте лица твоего»; а духовный труд поглощает человека еще больше, чем телесный. Каждый настоящий человек хочет, «получая», оправдаться перед природой и перед людьми; и он прав в этом. Он «инвестирует» свою силу, свою волю, свою мысль, свою любовь, свое воображение – в свой клочок земли, в свой ткацкий станок, в свою книгу и тогда уже не чувствует себя в мире ни тунеядцем, ни «приживальщиком». В этом освобождении и самооправдании и обнаруживается благодатное значение труда.

Но счастье труда не ограничивается и этим. Всякий труд есть исследование и всякий труд есть расширение человеческого горизонта, человеческих перспектив и человеческой власти. Каждый трудящийся созерцает, приспособляется к природе и имеет дело с новыми сочетаниями и заданиями в мире. Нет повторений в жизни и в истории. Каждое мгновение ново, небывало и своеобразно. Каждое из них ставит новые задачи и открывает новые постижения. Надо только улавливать их и верно истолковывать. В повседневной жизни это называют «жизненным опытом» и «культурной традицией». Но каждый жизненный опыт есть целое гнездо суждений и познаний; и каждая традиция есть драгоценное наследие, оставшееся от прежних исследований. Пока человек живет, он ищет в жизни «верного пути» (философски говоря, он ищет «метода», от греческого μέθοδος). А верный путь – это тот, который ведет к предметной субстанции мира и, следовательно, к Божией Идее и к Божией ткани. В молитве и в состоянии вдохновения этот путь близок нам и обретается легко. Но его надо находить и по нему надо идти и в повседневной работе; а для этого человеку нужна мудрость тысячелетий, традиции близких и

далеких предков, опыт отцов и личная исследовательская энергия в работе. Тогда человек работает вместе со всем остальным человечеством; он пользуется всем добытым и приобретенным как великим вспомогательным наследством и чувствует себя идущим впереди всего прошлого, как бы последним звеном в цепи этого стародавнего исследовательства. И всякое новое полезное изобретение примыкает, как новодобытый результат, к длинному ряду прошлых познаний.

А сколь велика радость труда при каждом творческом достижении! В такой творческий труд человек вкладывает себя целиком, он весь в движении и напряжении – от скрытых побуждений инстинкта вплоть до высших способностей духа. Все сосредоточивается в направлении на единую цель, все переживает подъем и полет; все ищет и созерцает, предчувствует и взывает; все всматривается в приближающуюся даль и напряженно ждет в надежде. Искры вспыхивают во тьме и снова исчезают. Холод восторга проносится в душе. Дух «уже знает» нечто такое, чего он еще не постиг, а сердце поет заранее и не сомневается в победе. Тогда человек начинает чувствовать себя орудием высших сил и научается сдерживать свое дыхание, чтобы не сделать какого-нибудь своевольного, ложного шага; человек начинает опасаться за свое недостоинство; вступая в цепь предметных необходимостей и постигая их, он ликует в духовной радости; он сразу – и счастлив, и смущен, и сердце его преисполнено благодарности… А потом, когда труд уже закончен и новое создание предстоит оку, тогда человек испытывает еще большее смущение при мысли, что он создал нечто вполне самобытное, ибо Господь видел его сердце, а оно хотело создать нечто истинное, а не новое и не своеличное; и тогда родится потребность вновь и вновь проверить и удостовериться, что «субъективное» не подменило истины и «новое» не исказило предмета… А впоследствии человек смиренно шепчет про себя благодарственную молитву за то, что ему удалось «немножко увековечиться»; ибо поистине ничто не исчезает в мире бесследно, каждый труд «вплетается» или «врастает» в ткань мироздания, приемлется ею и органически питает и укрепляет ее… Пусть человек только трудится, вернопреданно и самозабвенно, в предметном направлении и не щадя своих сил… Остальное есть дело Божьего попечения и суда…

А если этот творческий труд осуществляется в искусстве или если он, по крайней мере, переживается самим человеком в художественном измерении, тогда радость становится еще большей. Ибо художник призван созерцать и выговаривать в своей земной работе – сверхземное. Он медитирует из глубины; и та глубина, которую он видит или, вернее, которая им овладевает, желает явиться миру через него. Он должен только чувствовать заботу и ответственность, чтобы не исказить те предметные содержания, которые открываются ему и овладевают им, – своими субъективными о́бразами и материалом своего искусства… И вот эту ответственность несет каждый человек, причастный художественному чутью в исполняемой им работе. Так, садоводство и лесонасаждение приобретают художественное измерение, а вслед за ними и всякий хозяйственный труд: тогда садовник, или иной владелец, размышляет о своем земельном участке или о своих постройках в более глубоких измерениях, чем измерение «пользы» и «выгоды», и придумывает единый план целого, не только доходный, но имеющий свое символически-художественное значение; тогда все части и все принадлежности этого целого созерцаются как необходимые «члены» целого художественного организма: они несомы единою идеей, которая их отбирает и освещает. И тот, кто никогда еще не видал такого художественно-символического парка или сада, которыми изобилуют, напр., окрестности озера Комо в Италии, тому предстоят еще благородные эстетические впечатления…

И все это вместе создает счастье труда. Кто увидит это, – а в этом должен был бы убедиться каждый из нас – тот постигнет высший смысл человеческого труда и строительства. Тот, кто трудится, участвует в жизни богосозданной ткани мира: он содействует ее постижению, ее развитию и ее полному расцвету. И тот, кто участвует в этом великом деле и помышляет не только о пропитании, но ищет целостного здоровья, творческой радости, земного счастья, своего личного самоутверждения в мире и самооправдания перед лицом Божиим, кто, трудясь, желает стать художником Царства Божия на земле, тот имеет все основания возносить молитву благодарности перед началом труда и по его окончании.

7. О ТВОРЧЕСКОМ ЧЕЛОВЕКЕ

Вот кто с полным правом требует себе свободы, притязает на нее и добивается ее. Она должна быть ему предоставлена и обеспечена, чтобы никто не смел ему ничего предписывать и чтобы никакая человеческая власть на земле не запрещала ему творить как ему Бог на душу положит… Никакое внешнее указание не должно ограничивать его духовное созерцание; ему не следует говорить «твори так» и «не создавай того-то». Ибо всякая предварительная цензура мешает его творчеству и всякое предписание пресекает его вдохновение. Если только он достаточно проникнут чувством ответственности, то всякое постороннее вмешательство излишне. Ибо творчески облагодатствованный человек предстоит высшей власти в высшем

измерении; он от нее получает свое направление и ей повинуется; и потому ему должна быть предоставлена свобода творческого усмотрения. Это не есть свобода злодейства или преступления. Это не есть и разнуздание ко вседозволенности. Это не есть и право на разврат, на пошлость и на безвкусие. Но это есть право на свободную творческую молитву; это есть свобода совестного и ответственного Богохваления…

Для таких людей надо делать все, чтобы расширить им их земные возможности и облегчить им процесс их творчества. Если такому человеку необходим творческий покой, то надо ему обеспечить тишину и беззаботность. Если ему нужна эта мраморная глыба, чтобы создать из нее «Давида» Микель-Анджело, то надо позаботиться о доставлении этого мрамора в его мастерскую. Если он мечтает о новой, невиданной скрипке, которая будет петь ангельскими голосами, то надо помочь ему в осуществлении этой мечты. Если ему нужен в его лаборатории новый аппарат для регистрации человеческой ауры, то нужно сделать все возможное, чтобы исполнить его желание. Его общение с внешним миром – с природой или с людьми – должно быть по возможности облегчено ему. Надо избавить его от нужды. Надо оградить его от грубых, пошлых, навязчивых людей. Нельзя допускать, чтобы он, подобно Леонардо да Винчи, всю жизнь подыскивал себе прозаический или вульгарный заработок помимо своего вдохновенного призвания. Он не должен терпеть всю жизнь нужду и биться с долгами подобно Рембрандту, Бетховену, Гоголю и Достоевскому. Нельзя мириться с тем, что его, подобно Шопену, преждевременно сведут в могилу бедность и голод. Непозволительно оставлять его беззащитным в тот опасный час, когда какой-нибудь порочный и злой авантюрист, наподобие Дантеса или Мартынова, покусится на него, как на Пушкина и Лермонтова, чтобы убить его на поединке. Напротив, его жизненный путь должен быть огражден и сглажен, чтобы он мог свободно предаваться своему вдохновению, создавая свои лучшие произведения и выговаривая свои видения для вечности. Ибо в таком человеке поистине струится Божий поток, а к его словам и песням прислушиваются ангелы.

Аристотель сказал однажды, что человек «свободен от природы» тогда, если он способен иметь свои мысли, а не только воспринимать чужие; если же он свободен от природы и вынашивает свои собственные мысли, то он нуждается в «досуге», чтобы вынашивать эти творческие идеи. Понятно, что здесь дело идет не о простых и кое-каких мыслях, но об идеях и концепциях, которые воспринимаются духовным оком и духовным слухом из самой сущности мироздания.

«Досуг» рабочего человека отводится ничегонеделанию, развлечениям и наслаждениям, спорту или дремоте. Досуг творческого человека посвящается сосредоточенному созерцанию, напряженному труду, истинному созиданию – подчас великой муке, иногда сплошному блаженству. Предаваясь своему «досугу», творческий человек отводит все несущественное, механическое и случайное, чтобы жить только существенным, органическим и необходимым. Он живет не рассеянно, не развлеченно, а сосредоточенно. Он освобождает себя от всех субъективных капризов и произволений. Он погружает свой взор во «внутреннее», в глубину; но не просто в пространства своих субъективных переживаний, воспоминаний и фантазий, но в сферу предметного бытия, чтобы воспринять его сущность, чтобы удержать ее и выразить ее в верной и точной форме. Именно поэтому окружающим его людям кажется, что он «отсутствует» и не видит ближайшего; но это означает только, что он присутствует где-то в иных «местах». Они считают его нередко «мечтателем» или «фантазером» и причисляют его к «грезящим поэтам»…

Лишь немногие, причастные духовному опыту, знают, что́ он переживает и что́ в нем происходит, зачем ему нужна свобода и чем он заполняет свой досуг. Ибо на самом деле его внешнее освобождение и его кажущаяся «рассеянность» служат некой внутренней связующей необходимости, и его драгоценные досуги, которые Пушкин любил обозначать словом «лень», заполнены напряженным созерцанием или духовным вслушиванием. Он, свободный, связан, как никто другой; и его свобода служит ему для того, чтобы постигать эти внутренние необходимости и следовать их требованиям. Он совсем не волен выдумывать что угодно; ему не предоставляется произвольно изобретать или «построять» по собственному усмотрению. Он должен внимать – «созерцать» и «вслушиваться». Он призван «погружаться» в предмет до тех пор, пока этот предмет не овладеет им. Тогда он почувствует себя в его власти; или, познавательно говоря, он почувствует, что видит предмет с силою очевидности. В этом состоянии он должен пребывать до тех пор, пока предмет не захочет говорить через него, а сам он не почувствует себя готовым стать «орудием» своего предмета, как бы зажить его «пульсом» и «дыханием». Тогда он получит право и основание выразить пережитое содержание – излить его в форме сонета, романа, сонаты, статуи, картины, исследования, философского «описания», богословского трактата, проповеди, нового закона или зрелого совестного поступка. И тогда его произведение возникнет через него, а не только из него. Тогда он окажется как бы «цевницей» своего предмета, его посредником и

возвестителем. Может быть, даже кто-нибудь услышит в нем арфу Божию.
То, что он воспринимает и созерцает, есть объективная, предметная сущность бытия, к которому человек должен проникнуть, – каждый человек, каждый из нас; ибо каждый из нас призван жить на земле из самой субстанции и ради нее, из главного и для главного, а не пылить, задыхаясь от собственной пыли. В самом деле, наша земная жизнь состоит из двух элементов: из несущегося потоком, неисчерпаемого хаоса случайной пыли и из сокровенно сияющей и тихо призывающей субстанциальной ткани. Смысл жизни состоит в том, чтобы мы преодолевали эту хаотическую пыль случайных единичностей и проникали к субстанциальной ткани, чтобы закрепиться в ней. Каждый из нас начинает свой жизненный путь как бы в ночи, окруженный неудобопроглядной темнотою: вокруг жуткая неизвестность и только там и сям через мрак сверкают и призывают далекие звезды. И каждый из нас призван к тому, чтобы всмотреться и вчувствоваться в тот единый и единственный источник света, от которого эти звезды заимствуют свое сияние. И может быть, слишком многие из нас всю жизнь блуждают в этой темноте и выходят к единому Свету лишь после своей земной смерти…
Беспомощны мы, люди, в этих земных сумерках, то и дело сгущающихся в полную темноту. А многие, может быть, совсем и не знают о том, что они беспомощны и что им нужна помощь: их лишенность не осознана ими, они не ищут и не добиваются высшего. А между тем творческие люди могли бы им помочь. Мало того, они должны все время помогать, не спрашивая о том, есть ли зовущие на помощь, и кто они, и где они. Они призваны созерцать, вынашивать и отдавать; они должны готовить свои дары и отдавать, рассылать во все стороны свои лучи, – незваные, непрошеные, нередко отвергаемые или изгоняемые, может быть, даже побиваемые каменьями. Первый луч всегда беспокоит освещенного, второй – раздражает его, третий оскорбляет; и нередко лишь четвертый пробуждает, и тогда уже следующие лучи согревают и исцеляют. А тот, кто был побит камнями, – светит, греет и исцеляет даже и посмертно.
Надо будить в людях потребность в чистом воздухе Божиих пространств; надо, чтобы людям становилось душно, тоскливо и горько в пыли их земной жизни, в бессмысленном хаосе их чисто субъективных мелочей. Надо будить в людях волю к священной Предметности, к божественным лучам, к духовной радости. Эту потребность надо будить в них как можно раньше, чтобы они не проспали всю свою жизнь в слепоте и темноте. Благородные натуры живут этой волей всю свою жизнь; она подобна в них естественной жажде, которая утоляется только творческим созерцанием. Личный успех в жизни не удовлетворяет их; их «своекорыстие», названное у Аристотеля духовным эгоизмом, ищет сверхличного, высшего, духовного, предметного. Они всю жизнь ищут того пути, который уверенно ведет и приведет их к субстанции, во всем и везде: в вере, в науке, в искусстве, в политике, в личных отношениях с людьми, в службе и в воспитании. Они ищут пути («метода») и находят его; а кто нашел, тот может помогать и призван будить: знает он об этом или не знает – он призванный воспитатель своего народа.
Ему, конечно, поставят вопрос, откуда он знает, что он действительно нашел путь, что он созерцает «предмет» и видит его верно, что он «укоренился» именно в субстанции, а не в своей личной выдумке. Отвечать на этот вопрос каждый творческий человек должен своими созданиями и своей личной жизнью: ибо настоящая предметность свидетельствует сама за себя, и свет, идущий из субстанции, из Божественной ткани мира, светит благодатно и убедительно. Но он может ответить и словесно, дать описания и доказательства, ясно и точно повествуя о своем пути и о том, чему и как он научился. Это делали уже многие и великие, и меньшие люди, начиная с Конфуция, Лаоцзы и Будды – и вплоть до наших дней. Каждый сделает это по-своему, в меру своего дара и искусства. Но если сравнить между собою эти описания и советы, то всякий из нас невольно изумится их существенному сродству.
Однако есть еще один особый признак, по которому можно проверить свою предметность и распознать чужую. Это та своеобразная новая связь жизненных содержаний, та внутренняя необходимость, которая обнаруживается в узренном и пережитом, слагаясь в единое целое. Творческий человек, открывший эту связь и выразивший эту необходимость, знает хорошо, что не он создал это новое здание, что он не изобрел его, а только нашел, как уже объективно обстоящее; он изумлялся, найдя его, и всю жизнь радовался своему «открытию». И потому в нем живет ощущение, что он не «творил», а только «воспроизводил», созерцая и описывая свой предмет. В нем остается чувство, что искомое и найденное было древне, исконно, может быть, вечно; и что то, что он увидел и выразил, было лишь вновь найдено и является ныне лишь в новом облачении. Это есть то самое ощущение, которое привело Платона (в диалоге «Менон») к признанию мира идей и которое с тех пор называется по его имени «платоновским созерцанием». Но тот, кто внимательно читает великую книгу человеческого духа, тот найдет это ощущение «вновь узренного древнего обстояния» почти у каждого из великих поэтов,

исследователей и философов. В русской литературе это выразил с особенной силой и точностью Алексей Константинович Толстой:

Тщетно, художник, ты мнишь, что творений своих
ты создатель!
Вечно носились они над землею, незримые оку…
…Много в пространстве невидимых форм
и неслышимых звуков,
Много чудесных в нем есть сочетаний и слова,
и света,
Но передаст их лишь тот, кто умеет и видеть,
и слышать,
Кто, уловив лишь рисунка черту, лишь созвучье,
лишь слово,
Целое с ним вовлекает созданье в наш мир
удивленный…

А мы, которым позволено приблизиться к этим созданиям, истинам и деяниям, воспринять их и возрадоваться о них, – мы нередко приобщаемся этому ощущению «обновленной древности», или «древнего в новом облачении», или «возродившегося Вечного» и подтверждаем его. Нами овладевает тихое и глубокое чувство «древлепочтенного», «стародавней мудрости», «прекрасной необходимости», «Богосозданной сопринадлежности», «блаженного такобытия». Тогда мы от полноты души, и духа, и сердца, и инстинктивного чутья – произносим этому новооткрытому и очевидному предметному содержанию наше приемлющее «Да» – и чувство счастья овладевает нами, счастья от того, что нам дано было увидеть это и подтвердить.

Образно выражаясь, можно было бы описать это так. Когда Божии творческие идеи ниспадают из Его вечного лона в хаос грешного и неустроенного мира, то их подхватывает бурный ток смятения, искажает их совершенство и растерзывает их дивный состав. Отсюда возникает высокое задание: узреть каждую из этих идей в ее полном и целостном составе и восстановить ее в ее зрело-совершенном виде. Египетская мифология рассказывает, что когда-то Изида искала по всему свету те четырнадцать частей, на которые было растерзано тело ее супруга Озириса; и вот, находя и составляя их, она не создавала его тела, но лишь восстанавливала его в его первозданной красоте. Поэтому каждого творческого человека можно сравнить с ищущей Изидой: он не создает, а лишь воссоздает Божию идею и радуется возможности помыслить Божий замысел, верно узреть «Закон Божий» и осуществить его. Ему светит целостный облик искомого; его ведет любовь к Божественному; он проверяет себя той высшею необходимостью, которая открывается ему в духе; он наслаждается воссозданием Вечного, он радуется, чуя отблеск Божией благодати в своем создании.

И именно поэтому творческий человек знает лучше всех, что́ он создает, воспроизводя Божию идею; и потому он непрестанно и напряженно подъемлет свой взор к Богу.

8. О СИЛЕ СУЖДЕНИЯ

Пока человек живет, он слагает суждения и руководствуется ими. Он судит сознательно и бессознательно; высказываясь и совершая молчаливые поступки; делая логические выводы и проявляя купеческую изворотливость; спрашивая, и отвечая, и уклоняясь от ответа; везде – в политике, в искусстве и в обыденной жизни. За каждым жизненным решением и деянием скрывается целый узел суждений – иногда невысказанных, иногда еле помысленных, нередко сокращенных, быстрых, так называемых «непосредственных умозаключений». Здесь по большей части нет тех умственно построенных, логически оформленных, ясных и зрелых суждений, с которыми считается логика; гораздо чаще это инстинктивно вспыхивающие «суждения пристального взгляда», заботы, страха, зависти, своекорыстия, юмора, оценки, отвращения, решительного отказа от почти состоявшейся покупки или внезапного оборонительного телодвижения. И тем не менее – это все суждения.

Пока человек живет, он должен воспитывать и укреплять свою силу суждения. Ему необходимо организовывать свой внутренний мир и окружающую его внешнюю среду. Ему необходим строй и порядок. Приводить в порядок значит властно вмешиваться в хаотически-случайный поток жизненных содержаний, разделять, обособлять, выбирать сопринадлежащее и устанавливать новые, жизненно необходимые связи, новую сопринадлежность вещей. Организовывать значит отличать существенное от несущественного и придавать существенному вес и значение; это значит устанавливать преобладание, подчинение и сочленение, распределять функции, обязанности и полномочия – и тем создавать целостный и жизнеспособный организм (крестьянское хозяйство, правящее ведомство, фабрику, армию, школу, умственный организм книги, художественный организм картины, симфонии, драмы и т. д.). И в основе всего этого лежит процесс суждения, как необходимое и творческое выражение жизни.

Суждение совсем не есть «привилегия» отвлеченных мыслителей. Судит каждый человек – образованный и необразованный, умный и глупый, теоретик и практик: каждый разделяет и связывает, оценивает и выбирает, выделяет существенное и формирует, упорядочивает и организует – и на письменном столе, и в кухне, и в гараже, и в магазине, и в парламенте. И это искусство – во всем схватывать существенное, все связывать существенною сопринадлежностью и согласно этому «строить жизнь» – есть искусство суждения, столь необходимое для всякой жизнеспособности, для творчества и для человеческого счастья. Это надо всем продумать до конца, раз навсегда; и сделать из этого выводы.

Вот почему каждый из нас призван воспитывать в себе самом, в своих детях, учениках и подчиненных силу суждения; но не только в них, а и во всех людях, с которыми его сводит жизнь, – незаметно выправляя постановку вопросов, тактично подсказывая их верное решение, уточняя мысль и настойчиво выдвигая во всем главное, существенное, лучшее. Ибо сила верного суждения лежит в основе всей человеческой культуры.

Это самовоспитание, эта борьба за свою и чужую силу суждения осуществляется через аскез. Аскез обозначает не только «упражнение», но и «воздержание», причем и то и другое ведет к лучшему умению. Это слово говорит о постоянной работе над усовершенствованием; вызывается же эта работа чувством ответственности. Аскез есть школа, ведущая к лучшему; дисциплинирована и сосредоточение силы; восхождение к властному искусству. И где это совершается – это упражнение и воздержание, эта школа и дисциплина, – там живет истинная академия, там бережется и укрепляется сила национальной мысли, «мозг» страны, творческая энергия знания, то, что можно было бы назвать вместе с французским мудрецом «la moêlle du lion»[8]… Ибо аскез силы суждения есть верный путь, ведущий к расцвету подлинной национальной культуры.

Итак, первое, что надо делать, – это будить в людях чувство ответственности. Кто живет, тот судит; кто судит, тот обязан отвечать за свои суждения. Ибо каждый жизненный поступок есть суждение; и, обратно, каждое суждение есть деяние, есть жизненный акт, который неудержимо передается во все стороны, то служит благу, то приносит вред и причиняет жизненные раны. Поэтому надо вести борьбу со всяким безответственным, легкомысленным, произвольным, заносчивым и беззастенчивым суждением и рассуждением! Долой безответственность, долой легкомысленный произвол! Настоящая, серьезная жизнь доступна только тому, кто относится серьезно к своим суждениям и понимает значение умственной концентрации и духовной компетентности…

Чувство ответственности вызывает в людях волю к предметному и верному суждению и соответственно решение применять свою силу суждения осторожно и обоснованно. Отсюда возникает готовность – воздерживаться от суждения всюду, где нет достаточной компетентности, честно и храбро говорить «не знаю», «не вижу», «не исследовал», «не продумал», «не понимаю», «не могу». Надо приучить себя к тому, что моя сила суждения имеет свои пределы, что я не в состоянии судить там, где не вижу и не разумею; что лучше показаться кому-нибудь «неучем» или «глупцом», чем оказаться на самом деле развязным или даже нахальным болтуном. Надо научиться смирению. Важнее и драгоценнее быть смиренным аскетом в суждении, чем самоуверенным всезнайкою. Надо отучить себя от всякого неуместного апломба, этого первого признака ограниченности или даже глупости.

Так начинается воспитание силы суждения. Оно начинается с вопроса: чего требует от нас верное суждение? И еще: что мне надо совершить в самом себе, чтобы произносить самостоятельные и верные суждения? Ответ гласит: при каждом суждении человек должен интенционально сосредоточиваться. Слово «интенция» происходит от латинского глагола «intendo» и означает сразу: определенное направление и сосредоточенное напряжение. Добывая суждение, надо временно зажить одним-единым жизненным содержанием и выйти из остальных: нужна способность к концентрации, к погружению в единое, к уходу в колодец; надо выбрать одно содержание и предоставить себя в его власть, «втянуться» в него всецело. Это приучает человека к живому и интенсивному восприятию предмета.

Но это восприятие должно непременно соответствовать природе данного предмета. А предметы различны, своеобразны и многовидны. Зная это, надо приготовиться к тому, чтобы настежь открывать «двери» своей души всякому данному предмету. Надо отдавать в его распоряжение все свои внешние и внутренние силы, и притом именно те, которых он требует: свои чувственные «органы», если они понадобятся (зрение, слух, осязание, обоняние, мускульное чувство, способность ощущать тепло и холод и т. д.); свою силу воображения и творческую фантазию; побуждения любви; напряжения эмоций и аффектов; чувственно прикованное, нечувственно освобожденное и сверхчувственно окрыленное мышление; силу своей воли, а может быть (напр., в этике и политике), и энергию действия. Человек, желающий судить о предмете, должен быть готов обратиться к нему именно теми силами и способностями своего

существа, которых он потребует. Что скажет о живописи слепой? Что может произнести о музыке глухой? Человек с чувственно-связанным воображением не решит ни одной геометрической задачи. Человек с мертвым или скудным чувством не сможет судить в делах нравственности, религии, художества и патриотизма; безвольному и близорукому человеку лучше не участвовать в политике ни суждением, ни деянием… Восприятие предмета будет мнимым или скудным у того, кто располагает только чувственными ощущениями и отвлеченною мыслью: самое драгоценное в жизни останется недоступным для него. Человек должен уметь приспособляться к тому способу бытия, который присущ данному предмету; он должен ставить в его распоряжение всю «клавиатуру» своих человеческих способностей. Только таким путем он построит верный «мост» к предмету. Только при этом условии он «вос-приимет» в себя предмет своего суждения, именно его, а не его обманчивого сходно-именного «двойника». Ибо в суждении дело идет не о словах или именах, а о реальностях. И только тот, кто «вос-приимет» в себя предмет своего суждения, может надеяться на то, что не он (субъект) скажет что-то о предмете, а сам предмет «заговорит» через него о себе и произнесет о самом себе драгоценное суждение.

Только при соблюдении этого требования есть надежда на удачу: человек сможет попытаться выразить воспринятое в словах. Это нелегко. Это может удаться, но не совсем; это может отчасти и не удаться. Надо зажить предметом и говорить из него. И нередко человек будет чувствовать себя при этом – затрудненным, медленным, беспомощным, ищущим и ненаходящим, «в томленьях крайнего усилья» (Фет). Всякий, кто пытался идти по этому пути, знает, что «целое» дается нелегко и что иногда оно почти не дается: его надо внутренно как бы «делить на части», сосредоточивая «лупу» своего созерцания, своей мысли, своего слова на отдельных «частях» или сторонах, по очереди. И каждая «часть» потребует той же самой сосредоточенности и осторожности, с которой начиналось первое восприятие. У того, кто упражняется, постепенно вырабатывается особое «искусство деления» – отбирающее существенное и отодвигающее несущественности, требующее неутомимого удостоверения и переудостоверения, требующее готовности не переоценивать добытое, а признавать его лишь предварительным итогом, с тем чтобы начинать все снова со свежими силами.

Одновременно с этим вырабатывается умение спрашивать, ставить вопросы, та необходимая вдумчивость и осторожность умственного взора, без которой невозможно никакое исследование. Надо иметь такое чувство, как если бы каждый вопрос возникал из глубины самого предмета и подсказывался им. Ибо настоящий вопрос родится не произвольно, он как бы навязывается или предписывается; он не произволен, не вял, не ленив и не холоден; он насыщен, интенсивен, требователен; он борется, он зовет, он как бы властно стучится в дверь. И именно предметная серьезность его создает уверенность, что ответ не замедлит.

В этом процессе возникает и искусство сомнения. Я разумею не холодное и равнодушное сомнение безразличного человека: такое сомнение бесплодно; оно разрушает, разлагает и губит, особенно тогда, если оно является беспредметным, ироническим и всеобъемлющим: «сомневаюсь во всем, даже в собственном сомнении»… Нет, я разумею ищущее и добивающееся сомнение, интенционально-сосредоточенное, содержательно-определенное и предметно-укорененное: такое сомнение немедленно вызывает потребность в новом, верном восприятии предмета, которое и осуществляется. Такое сомнение драгоценно, плодотворно и удостоверяюще. Оно известно всем серьезным исследователям и всем религиозно-верующим людям. Оно является двигателем для силы суждения, источником всякого серьезного знания, орудием всякого художественного искусства.

Тогда может родиться творческий и продуктивный «ответ», в основании коего всегда лежит исходная, подлинная честность. Этот «ответ» надо представлять себе как некий длительный, вековечный процесс, который длится с самого рождения первочеловека и его познания, слагается и ныне, и будет длиться всегда. Не потому, что каждое человеческое познание «относительно» и «недостоверно»; нет, каждый предметный ответ достоверен и полноценен; но он не исчерпывает предмета, он не раскрывает его целостно, до самого дна. Предмет подобен «махровому» цветку, не имеющему «последних лепестков»: он раскрывается все дальше и глубже, без конца, расцветая снова и снова. Отсюда и бесконечное «отвечание»: оно дарит человеку истину, но эта истина имеет образ «бесконечно махрового цветка». Этот «цветок» не есть иллюзия или фантазия; он подлинно обстоит; он раскрывается сам; и это расцветание совершается все дальше и дальше во всем своем великолепии. Сила суждения требует благоговения перед предметом и великого терпения.

Вот почему всем крупным, призванным мыслителям свойственно как бы вечно цветущее мышление, ибо у них всякое понятие, всякое суждение, всякое слово – вскрывает новые связи, развертывает новые ходы, как бы отверзает новые двери, ведущие к предметным источникам и колодцам, в предметные шахты. Такие мыслители –

качественно всегда подлинны; по объему и материалу – всегда новы; по огню своей мысли – всегда «искренни». Их мысль никогда не впадает в релятивизм; но она всегда не закончена. Ибо таким создан и так обстоит Божий мир; таким помыслил его Господь и в таком виде Он отдал нам его на исследование и познание, чтобы мы всюду осязали Его могущество и величие, Его излучения, Его присутствие и созерцали мир как живой символ, как живой «иероглиф» Божий…

И потому мы можем быть уверены, что, где начинает господствовать отвлеченное, схематическое мышление, упрощающее и повторяющее, раз навсегда нашедшее мнимый «ответ» на все свои неверные «вопросы» и самодовольно навязывающее всем свой «штамп» или «трафарет», там сила суждения иссякла и омертвела, там воцаряется мертвая ложь и пошлость (например, «механицизм» в естествознании, «формализм» в юриспруденции, «конструктивизм» в философии, «кубизм» в живописи, «модернизм» в музыке, «диалектический материализм» в истории, политике и экономике и т. д.).

И посему всем нам и повсюду, и особенно нам, русским, которым еще предстоит воспитать в себе национальный духовный характер, – нам надо упражнять и крепить свою силу суждения, нам необходимо судить свободно и ответственно и высоко ценить аскетическое начало в мысли. Нам надо помнить, что беспредметные суждения и противопредметные рассуждения слагают гибельную болтовню, за которую множество людей будет расплачиваться долгими и жестокими страданиями.

Аскез силы суждения требует от нас, чтобы мы честно знали, где кончается наше знание, где наша сила суждения захлебывается, иссякает и изнемогает. Он учит нас рассматривать наше знание как «еще-незнание»; он приучает нас к насыщенному и в то же время непритязательному мышлению. Он ведет нас через все преграды вопрошания и сомнения, через очистительные огни самокритики и возражения самому себе, так, чтобы мы могли выйти из всего этого искуса закаленными и обновленными.

Однако аскез силы суждения совсем не есть проявление умственного безволия; ибо осторожный человек нисколько не лишен воли; и осторожность совсем не ведет к разлагающему релятивизму или агностицизму. Этот аскез отнюдь не есть и прикровенное «бегство» от предмета; напротив, он означает выдержанную борьбу за предмет, мужественное движение к нему. Он превращает человека как бы в орудие самого предмета, в его послушный знак, может быть, в его живогласную трубу. Он дает нам искусство незнания, храбрость откровенного непонимания, смирение, чтобы учиться и поучаться. Есть великая духовная красота в том молитвенном исследовании, которое мы видим у всех великих философов и естествоиспытателей – у Сократа, Аристотеля, Коперника, Галилея, Кеплера, Декарта, Лейбница, Халлера, Ломоносова, Либиха, Ньютона, Фехнера и у других. Есть дивный духовный аромат в их честном, точном, зорком и скромном вопрошании…

Итак, аскез силы суждения требует предметной концентрации и точного, ответственного выражения тех содержаний, которые восприняты от предмета; последний этап ее есть нахождение верной формы суждения, утвердительной или отрицательной, с точным объемом (общим, частным или единичным). Само собою разумеется, что все это требует духовной воли, умственного напряжения с «долгим дыханием» и сосредоточенного внимания, – именно того, что французский скульптор Роден так неудачно пытался выразить в напряженных мускулах и сосущих губах мощнотелого атлета («Мыслитель»); неудача здесь в том, что сосредоточенность и напряжение мысли отнюдь не имеют «соматической» (т. е. телесной) и «инфантильной» (т. е. ребяческой) природы, но требуют, наоборот, «распряженных» мускулов и забвения о собственном теле. Аскез силы суждения есть дело духа. Он воспитывает к предметности в жизни, и притом во всех областях культуры. Он должен сообщить человеку гибкость внутреннего акта, зоркость в восприятии и точность в описании и мышлении. Он укрепляет в человеке чувство ответственности и строгую честность; он борется со всяким легкомыслием, со всезнайством, с тщеславием, с хвастливостью, праздным пустословием и безответственной болтовней. Одним словом – это есть школа истины, красоты и культуры. И там, где люди работают над этим и обучаются этому, там живет и цветет подлинная национальная академия – в науке, в религии, в искусстве, в политике и во всякой деятельности.

И прежде всего – воспитание судящей силы составляет основную задачу умственного образования. «Образованным» надо считать не многознающего «энциклопедиста» и не всезнающего «сноба»: обременение или переобременение человеческой памяти не дает зрелости человеческому духу. Мудрый грек Гераклит был совершенно прав: «многознание не научает человека владеть умом»… Образован воистину – не перегруженный интеллект, напоминающий «Британскую энциклопедию» или «Книжный каталог ватиканской библиотеки». Истинная образованность есть сила созерцания и зрелость суждения. Она отвергает всякое «авторитарное» мышление и живет самостоятельным творческим общением с самим предметом. И потому образование есть прежде всего воспитание к самодеятельному созерцанию и мышлению, – к исследованию.

Исследование совсем не является монополией ученого и его «лаборатории». Исследуют все, кто имеет непосредственно дело с предметом: моряк, ведущий свой корабль; крестьянин, налаживающий свое хозяйство; офицер и солдат на поле сражения; рабочий у своего станка; купец в своей лавке; учитель в школе; священник в своем приходе. Всюду, где человек обращается с вопросом к Богу, к природе и к своему человеческому окружению, он выступает в качестве самостоятельного мыслителя и оказывается исследователем. И этим он доказывает (говоря словами Аристотеля), что он человек «свободный от природы», ибо «рабом от природы является тот, у кого ума хватает только для понимания чужих мыслей», но не для выработки своих…

Подобно этому религиозная зрелость человеческого духа состоит в том, что он ответственно, осторожно и благоговейно судит о религиозных предметах и делах. Это имел в виду еще Цицерон, когда производил слово «религия» от латинского глагола «relegere», что значит совестно и благоговейно воспринимать и обсуждать божественные содержания. Тот, кто решает вопросы религии слишком легко и быстро, тот обнаруживает ребячливое умонастроение, которое не следует смешивать с чистотой и цельностью детской души, заповеданными в Евангелии. Ребячливый человек готов верить всякому слову, слуху и вздору; он не умеет ни проверить, ни удостоверить; он не знает ответственности и не понимает священных сомнений: и не имеет ни малейшего подозрения о том, какова таинственная глубина религиозных обстояний. Истинная религиозность начинается именно с «духовной нищеты», т. е. со смиренного и искреннего «незнания», с подлинного «алкания и жаждания правды»… Человек исповедует свою духовную скудость, и отсюда в нем зарождается плодотворное созерцание и вопрошание, сомнение и удостоверение, ответственность и внутренняя честность, которые никогда не успокоятся на суеверии, на беспочвенной фантазии, на «соблазне» и «прелести». Больной и нечистый «мистицизм» отметается, и всякое религиозное воззрение, при всей его иррациональности, слагается как своего рода зрелое и благоговейное суждение, как зрелый плод религиозного аскеза.

Подобное этому мы видим и в искусстве. То, что художник призван «выговорить» в своем произведении, как «главное-сказуемое», есть зрело промедитированное суждение о вечных предметах. Каждый образ, который он вынашивает и выбирает для выражения своей главной идеи, возникает в процессе осторожного созерцания и ответственного суждения. Каждое «нет» и каждое «да», которое он безмолвно произносит в себе, отвергая одно и предпочитая другое, имеет именно этот смысл. Каждая линия и каждая краска в его картине; каждый аккорд и каждая модуляция в его сонате; каждая фраза его романа, каждое слово в его стихотворении; каждый оконный наличник в его фасаде; каждый жест его танца – есть сконцентрированный итог многих созерцающих, спрашивающих, проверяющих и выбирающих суждений, которых он, наверное, никогда не переживал в сознательно-логической форме. Настоящее искусство возникает в аскетическом процессе художественного суждения: художник обязан отвергать все, что он переживает как «только возможное», до тех пор пока не появится предметная необходимость, повелительно требующая своего признания. Об этом знал Леонардо да Винчи, создававший свои произведения медленно, отыскивая, меняя, в великом аскезе своего художественного суждения, и оставивший некоторые из них в неоконченном виде. Об этом знали великие художники слова – поэты, исправлявшие свой стих в несколько «этажей» (Пушкин), и прозаики, переписывавшие и переделывавшие свой текст до 8 и 9 раз (Гоголь). Поэтому каждый творящий художник призван ждать и добиваться предметной очевидности и должен творить, предаваясь аскезу в своем художественном суждении. Иначе он не создаст ничего необходимого и вечного, ибо произведения его останутся «игрою в возможность», однодневными капризами, баловством, предназначенным для развлечения неприхотливых и скучающих людей, – «эстрадою для снобов»…

Те же законы господствуют и в этике. Каждое жизненное деяние является выражением многих суждений – о желаниях и о долге, о добре и зле, о полезном и вредном, о приличном и неприличном, о людях вообще и о данном человеке, о любви и ненависти, о Боге и о душе… В этом участвуют и инстинкт самосохранения, и сведения о целях и средствах, и совесть, и честь, и любовь, и сострадание, и вчувствование. Так, каждый совестный поступок есть самостоятельное суждение, исходящее из глубины сердца и решающее вопрос о самом лучшем в жизни; и то обстоятельство, что это совестное суждение не имеет зрело-сознательной, логической формы, делает его «суд» еще более ответственным во всей его молниеобразной непосредственности: и совсем не случайно язык африканских негров передает совестный акт так: «сердце говорит слово»…

Вот почему так важен аскез суждения в этике; вот почему смирение оказывается одной из важнейших «добродетелей познания». Это раскрывает нам также глубокое значение евангельского слова «не судите…»: ибо тому, кто судит людей и осуждает, слишком часто остается недоступной последняя сердечная глубина бедного грешника;

и профессиональный судья, на которого возложена обязанность судить, оказывается на высоте только тогда, если он постоянно старается вчувствоваться в живое и неустойчивое правосознание преступника.
Так обстоит дело и в политике. Каждое голосование, каждый закон, каждая реформа есть заключительное суждение, за которым скрываются целые цепи предварительных суждений. Эти исходные суждения, эти «предпосылки» говорят о самых различных содержаниях человеческой жизни, начиная с религиозной веры, добра и зла, родины, свободы и права и кончая прозаическими соображениями о пользе и вреде. Строго говоря, активный гражданин, имеющий право голоса, должен знать все, все взвешивать, все решать и нести ответственность за каждое свое суждение. И ему остается только подумать о том, как он справится с этим без предварительной и долгой школы суждения. Поэтому Сократ был совершенно прав, когда он обращался к своим согражданам с сомневающимися и выпытывающими вопросами, чтобы как-нибудь разочаровать их в их политическом всезнайстве и подвигнуть их к настоящему, ответственному аскезу в деле суждения. И тот, кто поймет это, тот навсегда откажется от слепой веры в то, будто «глас народа есть глас Божий»…
Итак, аскез силы суждения составляет настоящий и необходимый фундамент всей человеческой культуры; и народное образование должно заботиться и неустанно бороться за зрелость личного суждения. Это есть необходимый путь к воспитанию, духовной зрелости и мудрости. Какое обширное, какое плодородное духовное поле откроется перед нами в грядущей освобожденной России, где русская национальная талантливость познает бремя ответственности и энергию дисциплины!..
9. О ХУДОЖЕСТВЕННОМ СОВЕРШЕНСТВЕ
Искусство наших дней, именуемое «модернистическим», заблудилось среди дорог и ушло в беспутство; в этом и сейчас уже согласны все истинные друзья художества, не порвавшие со здоровым, сразу – духовным и естественным вкусом. Об этом знают особенно серьезные и великие художники нашей эпохи. Они знают, что далекое и прекрасное будущее принадлежит не модернизму, этому выродившемуся мнимо-искусству, созданному, восхваленному и распространяемому беспочвенными людьми, лишенными духа и забывшими Бога. После великого блуждания, после тяжелых мучений и гашений человек опомнится, выздоровеет и обратится снова к настоящему, органическому и глубокому искусству; и так легко понять, что и ныне уже глубокие и чуткие натуры предчувствуют это грядущее искусство, призывают его и предвидят его торжество.
Кто попытается представить себе это грядущее искусство, тот должен прежде всего отказаться от идеи «неслыханного», «невиданного» новаторства, ломающего переворота, опрокидывающего «открытия». Вся эта погоня за новшеством, за небывалым, за «потрясающим» или «головокружительным» есть проявление духовной смуты, порождение бессильного тщеславия у автора и у скучающих, ищущих «возбуждения» снобов в публике. Будущее, конечно, принесет нам новое искусство; но это «новое» возникнет из обновленного духа и из глубоко-чувствующего сердца, т. е. из тех слоев души, которые всегда задумывали и вынашивали всякое истинное произведение художества. Подлинная духовная глубина имеет свои особые законы, не поддающиеся субъективному произволу и не заменимые никакими нарочитыми изобретениями или выдуманными «конструкциями». Новое искусство принесет нам новые духовные содержания, а не новые бессодержательности, не новые пустоты и не новые пошлости. Оно создаст новые формы, а не новые бесформенности, не новые разнуздания, не новые хаосы. Оно разрешит себе «многое», но ничего такого, что выходит за пределы духовной необходимости, ибо здесь лежит критерий дозволенного, мера допустимого: в искусстве верно и художественно только необходимое.
Грядущее искусство будет опять укорененным, почвенным, органическим. Это совсем не обещает школьную придирчивость, педантство, тяжелую походку, строгое выражение лица, скучные поучения, обязательные трафареты…
Нет, это указывает на совсем иное измерение. Здесь имеется в виду не цензура содержаний и не предписанные формы, но творческий источник, творческий замысел и творческий акт.
Пока искусство движется по здоровым творческим путям, его содержания не нуждаются в цензуре, потому что оно само собою, внутренно и изнутри осуществляет строжайшую и убедительнейшую цензуру, драгоценную и художественную: это цензура предметной необходимости, которая в дальнейшем должна быть проверена и укреплена художественной критикой. Что же касается формы искусства, то ее вообще не следует предписывать: она совсем не должна следовать каким бы то ни было внешним требованиям – ни публичному спросу на базаре, ни прямым указаниям политической диктатуры; исключение может быть только одно: если такое требование совпадает с внутренним голосом художника, но и тогда художник пойдет за своим внутренним голосом, а не за посторонним желанием «заказчика». Поэтому мы имеем полное основание ожидать от грядущего русского искусства – новых, т. е.

первоначально-подлинных, духовных содержаний и новых, т. е. предметно-оригинальных, форм: это будут новые образы, выговоренные на «языке» первоначальной подлинности и с силою впервые рожденной формы, – в общем потоке насущного духовного питания и благодатной радости…

Это новое искусство возникнет из перенесенных русским народом испытаний, лишений и страданий; и совершится это потому, что в русских людях обновятся источники жизни, родники творчества, самый способ жизни и сила художественного созерцания. Россия идет к возрождению здорового художественного акта.

Строение художественного акта по самому существу своему свободно и предоставляется творческой силе самого художника. Здесь ничего нельзя предписывать; здесь нет обязательных рецептов. Но неутомимое и вчувствующееся изучение может установить здесь известные отрицательные границы, несоблюдение коих ведет к вырождению искусства.

Так, художественный акт – каково бы ни было его строение и в каком бы искусстве художник ни творил, – не может и не должен получать свое направление извне, иначе акт вырождается. Художник не должен следовать моде, она не должна ему импонировать, ибо та духовная, первоначальная глубина, где живут художественные содержания и откуда они восходят к осуществлению, не знает ничего о моде. Художник, будь он портретист или архитектор, не должен принимать от своих заказчиков никакого содержания, разве только если заказывающий обыватель сам выносил такое же художественное созерцание и вступает с художником в братский обмен духовными дарами. Художник должен с самого начала примириться с идеей возможного «неуспеха» или «провала» у публики; он должен быть готов к тому, что он не встретит понимания и справедливой оценки, что творчество его не даст ему ни радости признания, ни прокормления, ни дохода; и приготовившись к такому исходу, он должен спокойно, без робости идти своей дорогой. Искусство не есть промысел, приспособляющийся к внешним условиям, к спросу и заказу; оно есть служение, ориентирующееся по внутренним требованиям, по духовным звездам. И художник, мало зарабатывающий, непонятый и «отвергнутый» современниками – должен спокойно и достойно идти своей дорогой.

Действительно, ему предстоит важное и высокое служение, которое он несет и совершает на благо всего человечества: ибо он есть свободный и неподкупный провозвестник, показующий людям объективно-значительные и притом для многих сокровенные духовные содержания. В этом его призвание, которому он и посвящает себя, в этом его «должность», которую он свободно возлагает на себя. И это призвание предполагает у него определенные склонности и способности, которые он должен иметь или приобрести. Не каждому дано созерцать сокровенные духовные содержания, развивать и укреплять в себе это созерцание, следовать узренному ответственно и в строгом повиновении, вынашивать задуманное и изображать его в оправданных, необходимых и точных образах. А к этому сводится главное в искусстве. Искусство, которое ничего не знает об этом, а может быть, и не желает знать – не есть искусство; это есть безответственная игра, баловство или же доходный промысел, а может быть, и то и другое одновременно: автор кощунственно балуется и богатеет (Пикассо). Бороться с такими промышленниками трудно; устранить их из жизни совсем, может быть, даже невозможно. Но если такие затеи начинают вытеснять художество или заменять его, тогда искусство вступает в критический период, в эпоху упадка: оно отрывается от своего призвания и от своего главного назначения.

Настоящий художник отправляет духовное служение. Он совсем не призван развлекать публику, увеселять ее или угождать ей. Он призван созерцать «внутреннее», вслушиваться в него, служить ему и повиноваться, погружаться в него и творить из него, сообщать и возвещать о нем. Торговать и торговаться – не его дело. Он должен как бы заклинать в самом себе «духа земли». Он должен находить то «пространство», где живут духовные содержания, вступать в него и почерпать в нем предметные медитации. Он должен поставить себя в распоряжение Божьего дела, его сокровенной борьбы и его творческих страданий – и приобщиться этой борьбе и этим страданиям через отождествление с ними. Чем ответственнее он совершает при этом свое служение, тем глубже становятся его медитации; чем полнее он отводит и исключает свой собственный произвол, тем более предметными, истинными и художественными оказываются его «про-рицания»; чем сосредоточеннее и строже становится его внутренняя дисциплина, тем благоуханнее и «слаще» становится «мед» его искусства.

Но для этого ему нужна вся та внутренняя и внешняя свобода, которая вообще доступна человеку. Ему необходима свобода, чтобы достойно нести свою одинокую ответственность и сполна осуществлять те требования, которые ставит ему художественное творчество. Никакая цензура не может дойти до источников его творчества; и только конгениальный ему критик может сказать ему впоследствии, справился ли он со своею ответственностью. Чтобы разрешить эту задачу, художник

должен быть свободным и блюсти свободу в своей «лаборатории», – в созерцании, суждении, выборе, оформлении; а следовательно, и в линиях, в красках, в звуках и в тональностях, в словах и жестах, превращая их в живые и насыщенные символы «Главно-Сказуемого»… Он должен быть субъективно свободен, чтобы уловить и выразить объективную необходимость; ибо в искусстве есть такая, особенная, внутренно постигаемая объективная необходимость, к которой и сводится сущность дела.

Эта особенная необходимость составляет критерий всякого настоящего искусства. Если художник постигнет ее из глубины и осуществит ее целостно, то произведение его получит ту замечательную «убеждающую» силу, ту зрелую законченность, ту власть давать людям удовлетворение и счастье, по которым узнается совершенное искусство.

Каждый настоящий художник носит в себе внутреннее чувство или даже сознательное убеждение, что в процессе творчества ему не все позволено, что многого он просто «не смеет», что выбор темы, отбор «материала» и оформление его не предоставлены на усмотрение его произвола или его тщеславия, что он на все должен иметь духовное право и предметное основание. Вот так, как однажды Пушкин, негодуя на безвкусную и уродливую «поправку» цензора в его стихе, восклицал: так «я не властен сказать, я не должен сказать, я не смею сказать!». Художнику на все необходимо художественное полномочие; он отвечает за все созданное им, хотя нередко он, отвергая, не может обосновать словами свое отвержение, а утверждая, уметь только настаивать на верности, предметности и необходимости избранного…. Но дело не в словесных доказательствах, а в категорических «показаниях» внутреннего художественного опыта.

Это искание художественной необходимости и духовного права в творчестве составляет самую основу настоящего искусства. Оно, конечно, очень затрудняет работу, но зато приводит ее на настоящий уровень. Этим как бы отрезаются бесчисленные возможности в выборе: они сами отпадают, ибо обнаруживают свою несостоятельность. Наивному новичку, не знающему ничего об ответственности, может, правда, казаться, что он «все может» и «все смеет»: «ему нравится» – «значит хорошо»; он готов принимать всерьез всякую свою выдумку: он воображает, что всякая субъективная «навязчивая идея» создается художественным вдохновением и что все, что доставляет ему удовольствие, – «замечательно». Но настоящий художник знает, что нужно предметное основание и художественное право; что надо повиноваться художественной совести. Он знает, что он «смеет» закреплять только то, что верно и необходимо; он знает, что если нет этого чувства «смею», то это значит, что он «не смеет». Поэтому его свободное творчество связано: оно состоит в том, что он, созерцая и вопрошая, ищет этой художественной связанности, этой духовной необходимости. Он становится только тогда уверенным и спокойным, когда его чувство «так я смею» крепнет и превращается в чувство «именно так я обязан и иначе я не смею»… Дело не в том, что «можно» провести эту линию, наложить эту краску, ввести эту модуляцию, употребить это словесное выражение, но в том, что «только это и нужно», «именно этого и не хватало» и «обойтись без этого невозможно», ибо именно это соответственно и точно. Художественно-сказуемое требует именно этого, и требование его должно быть выполнено. Художник не смеет иначе; поэтому он и не желает иначе; поэтому он иначе и не может. Тогда он чувствует себя уверенно; тогда на него нисходит спокойствие. Ибо он создавал не по своему личному произволению, но повиновался внутренней необходимости, которая предъявляла свои требования и которой он радостно повиновался.

Каждый серьезный художник, погружаясь в свои «темы» и «образы», старается уловить в своем внутреннем мире эту предметную необходимость, следовать ей и соблюдать ее. Каждая линия, проводимая им, остается для него «проблематичной», «простой возможностью и не более того», до тех пор, пока он не начнет ощущать ее как нечто «строго соответственное», «точное», «органически-живое», «прочно-врастающее». «Соответственное» чему? «Точно» выражающее какой предмет? «Прочно-врастающее» в какой «живой организм»? На эти вопросы ему, может быть, трудно ответить, но этих словесных ответов от него не следует и требовать. Важно то, что его внутренний опыт недвусмысленно и достоверно сообщает ему, что он уловил «необходимое» и «единственно точное» и что проведенная им черта соответствует некоторому важному и решающему, хотя и сокровенному содержанию; это значит, что она «верна», «обоснованна», что она отличается таинственной, но совершенно очевидной «точностью» (любимое выражение Пушкина)… Тогда найденное подобно прочно лежащему камню в болоте, на который можно стать и опереться, чтобы нащупывать и отыскивать дальнейший путь.

Это «ощущение» органической необходимости в художественном творчестве отнюдь не есть ни призрак, ни самообман; напротив, ему присуще чрезвычайное, определяющее значение. Когда человек работает, напр., над дешифрированием непонятного текста, то ему приходится иметь дело с предположениями и неуверенными догадками до тех

пор, пока он не почувствует, что вступил в поток живого, связанного, единого смысла; тогда у него делается уверенность, что он не выдумывает ничего своего, субъективного, но верно улавливает то, что объективно скрыто в разбираемой им криптограмме. Подобно этому настоящий художник старается уловить сокровенное содержание художественного замысла, выразить его – соответственно, точно, «адекватно» – в образах и «изложить» в словах, звуках, красках, жестах или камнях. При этом он несет в себе уверенное и подлинное чувство, что он творит, не изобретая, а как бы воспроизводя нечто подлинно сущее, или же что вся его изобретательная способность направлена на верное отображение объективно предстоящего ему «предмета». И когда он, закончив свое произведение, показывает его или выставляет, то у него иногда бывает смутное чувство, что некоторые «места», или «линии», или «словесные обороты», или «плоскости», «краски», «модуляции» его произведения – не совсем закончены, не окончательно обоснованы, не вполне «предметны» или недостаточно точны. Тогда он начинает внимательно прислушиваться к критикам и сразу замечает, кто из них говорит из предметного созерцания, уловив художественную необходимость в его произведении, и кто из них, напротив, застрял во внешностях снобизма, в условностях отвлеченной формы, в аутистических выдумках и потому идет в своих разглагольствованиях мимо главного. Он умеет благодарно ценить скромные, исследующие замечания истинных критиков: он чувствует себя понятым, польщенным, он проверяет себя этими замечаниями и нередко «соглашается»; критик оказывается его ценителем, другом и помощником… А к самодовольному разглагольствованию мимо взирающих рецензентов он относится с пренебрежением, хотя и знает, что именно эта болтовня нередко влияет на публику и руководит ее мнением. Именно это последнее имел в виду Л. Н. Толстой, когда он однажды с тихим юмором вымолвил: «Критика – это когда глупый человек пишет об умном»…

В каждом произведении искусства надо различать троякое, как бы три слоя, причем эти слои не расположены один над другим, а открываются один за другим: от поверхности в глубину. Можно было бы выразить это и иначе: здесь есть центральное, главное «ядро», заключенное как бы в две «скорлупы», так, что «ядро» пронизывает обе скорлупы своими лучами и что внутренняя скорлупа может быть воспринята только через посредство внешней. Но это описание дает только указание, только намек на художественную правду.

Внешний слой искусства («первую скорлупу») можно было бы обозначить как «эстетическую материю»: таковы слова и фразы в литературе; линии и краски в живописи; слышимые звуки в музыке; камень, дерево, металл в скульптуре и архитектуре; тело танцующего, его одежда и обстановка в балете. И вот, чувственно уловимый материал искусства имеет свои собственные законы, например: фонетические, грамматические, стилистические и орфографические правила в литературе; физические, математические и акустические законы в музыке; естественные свойства камня, дерева и металла в скульптуре и архитектуре; физиологические, анатомические, психологические и духовные законы, владеющие человеческим телом, – в танце. Эти правила и законы должны быть соблюдены для того, чтобы произведение искусства художественно удалось. Фонетическое безобразие, грамматический хаос, стилистическая беспомощность и бессвязность могут погубить стихотворение. Нечистые, фальшивые звуки, не сопринадлежащие, монотонные аккорды с параллельными ходами могут испортить любое музыкальное произведение. Противоестественные, искусственно выдуманные, тяжелые, акробатически-вымученные, невыразительно-мертвые движения в танце могут сделать его фальшивым и художественно невыносимым…

Но эти необходимые, элементарные, азбучные законы чувственной материи не являются ни высшими, ни последними законами искусства. Есть другие, важнейшие и определяющие законы – и от них может изойти «применение» для низших законов: они могут властно потребовать аллитерации, или бесстильности, или бессвязности в словах; дребезжащих или монотонных звуков в оркестре; безвкусного сочетания красок или «обратной перспективы» в живописи; безобразных, вымученных движений в танце… Так, Римский-Корсаков, великий и безошибочный знаток гармонии, пишет Мусоргскому о его «Ночи на Лысой горе»: «Величание Сатаны должно быть непременно зело паскудно, и потому всякая гармоническая и мелодическая погань позволительна и уместна» (см.: Мусоргский. «Письма и документы», стр. 454). Унисон справедливо считается скучнейшим видом музыкального звучания; но Бородин, изображая азиатский примитив татарского ига, ведет его тему во властном, сокрушительном унисоне (первая часть знаменитой Второй симфонии)… И так обстоит во всех видах искусства: законы эстетической материи подчиняются Главно-Сказуемому. Пушкин, гениальный мастер легчайшего стиха, ставит, когда надо, такие строки: «Бой барабанный, крики, скрежет, – Гром пушек, топот, ржанье, стон»… Или еще: «В молчаньи правил грузный челн»…

Осязаемая материя искусства совсем не есть важнейшее в искусстве; она не есть

нечто самодовлеющее, и ее нельзя трактовать как «самостоятельное» тело художества. Напротив: она есть нечто вторичное, служебное, повинное послушанием высшему смыслу произведения. Эстетическая материя является «носителем», «орудием» или «знаком» того художественного содержания, которое должно быть «высказано» или «показано». Этот носитель должен быть на высоте выражаемого содержания, он должен соответствовать ему. Орудие должно быть послушным. Знак должен быть выразительным и содержательно насыщенным. Власть над ним имеет эстетическое содержание (т. е. художественный образ и говорящий через него художественный предмет). То главное, что художник «сказует» (или «показывает», или «знаменует»), – властвует над эстетической материей, властно выбирая слова, краски, звуки, плоскости, жесты и массы вещества. И в «материи» только то является художественно верным, что потребовано «Сказуемым».

Поэтому в произведении искусства эстетическая материя должна возникнуть из содержания, имея в нем свое оправдание и основание. Художественно только содержательно-необходимое. Совершенно здесь только то, что выразительно, в своей выразительности точно, в своей точности прозрачно и потому необходимо; что экономит силу, время и внимание и верно ведет к Главно-Сказуемому данного произведения. Вся эстетическая материя должна стоять в распоряжении Главно-Сказуемого, обнаруживая величайшую покорность, готовность и гибкость; она должна чутко приспособляться и видоизменяться, не отрекаясь от своих собственных законов, но находя в них новые, может быть, небывалые формы.

Второй «слой» искусства (вторая «скорлупа») есть показуемый и воспринимаемый эстетический образ. Это есть то воображаемое художником «обличие» или «очертание», которое подыскивает себе материю, для того чтобы воплотиться в ней и «излучаться» из нее и через нее. Эстетический образ может иметь чувственную природу: таковы обличия материальных вещей – бабочка, цветок, дерево, дом, ландшафт; но он может иметь и нечувственную природу: таковы душевное настроение, напр. «Меланхолия» Грига, или человеческий характер, напр, «князь Мышкин» у Достоевского, или духовная борьба людей, напр. Брут и Цезарь у Шекспира. А в музыке «образом» является музыкальная тема, во всей ее индивидуальности, видоизменяемости и судьбе, в ее общении с другими темами данного произведения. Все эти эстетические образы имеют свои особые законы: каждый образ должен явиться как нечто подлинно-объективное, правдоподобное, созерцательно-убедительное, индивидуально-внутренне-единое, самому-себе-верное, законченное, органически-связанное с другими образами и т. д. Расплывчатые, неясно показанные, неразличимые, плохо ракурсированные, противоестественные, неправдоподобные, в восприятии неубедительные, дробящиеся чувственные образы – характерны для плохого искусства; незрело выношенные, невыкристаллизовавшиеся, мало индивидуализированные, смутные человеческие характеры, которые выводятся в психологически неестественных жизненных положениях, произносят искусственные, аффектированные слова и совершают духовно необоснованные, неестественные поступки, – создаются плохими художниками и относятся к дурному, нехудожественному искусству. Все это оказывается художественно фальшивым, неприемлемым; все это разочаровывает, утомляет и проваливается.

Но законы второго «слоя» тоже не самостоятельны, не самодовлеющи и не являются высшей инстанцией. В каждом произведении искусства весь строй образов подчинен опять-таки высшему и важнейшему «слою» – главной идее произведения, Главно-Сказуемому, художественному предмету, и оказывается его верным и необходимым орудием.

Все дело именно в этом третьем, глубочайшем «слое», в том «главнейшем-важнейшем», что составляет «ядро» или «зерно» произведения; ради его художественного «произнесения», ради его «прикровенного показания» все зачинается, вынашивается и творится. Все эстетические образы должны быть выращены из него, развертывая его содержание, повинуясь его ритму, выражая его идею и волю. «Слой» эстетических образов должен ясно, точно и экономно выражать художественный предмет произведения; он должен служить предмету в качестве верной и прозрачной среды, чтобы предмет светился и воспринимался через него с очевидностью, скрываясь за ним и открываясь через него. Поэтому все образы данного произведения – романа, драмы, картины, сонаты, симфонии, скульптуры, балета – должны стоять в распоряжении художественного предмета, в подчинении ему, оказывая ему величайшую готовность, уступчивость, гибкость и выразительность.

Это настоящее «ядро» произведения, этот сущий и глубочайший центр его, к которому все сводится, ради которого все делается и творится и без которого все распадается – есть основная концепция художника, его сокровенный «замысел», который привел его творчество в движение. Именно он, этот предметный «замысел», задуманный не мыслью и не произвольным хотением, но зачатый в сфере той бессознательной духовности, которая присуща каждому из нас, – именно он

подыскивает себе необходимые образы и верную чувственную материю. Он есть тот «духовный цветок», который художник увидел в просторах духа; этот цветок пленил его, и он взял его с собою, чтобы подобрать для него художественное одеяние и показать его в таком виде другим людям. Этот духовный цветок можно было бы обозначить как «идею», но с тем, чтобы не приписывать ей никакой рационалистической формы: ибо эта «идея» постигается иррациональным сердце-созерцанием, которое не следует смешивать с обычной мыслью; это есть, если угодно, «мысль», но в смысле духовной медитации: это есть «созерцание», но осуществляемое не чувственными силами души, а сердцем, луч которого постигает, пленяется и «берет с собою».

Этот «духовный цветок» не есть субъективная выдумка или чисто личная химера художника. Он есть реальность, духовная сущность. Его можно было бы обозначить как духовный «первообраз» или как живой способ бытия, как классическое, каждому человеку доступное жизнесостояние. Это жизнесостояние переживается самим художником, созерцается им и становится его предметом. Он находит его в Боге, в человеке или в природе вещей. Есть такие первообразные состояния, которые он находит только в Боге – напр, «совершенство», «несотворенность», «вечность», «благодать», «неисчерпаемая милость»; или – в Боге и в человеке: «любовь», «прощение», «доброта», «бессмертие»; или только в человеке, напр., «грех», «совесть», «молитва», «страстное борение», «искушение», «ненависть», «пошлость», «зависть», «преступление», «раскаяние»: или – в Боге, в человеке и в природе, напр., «свет», «покой», «творчество», «страдание»; или только в природе и в человеке, напр, «сон», «жажда», «засыхание», «расцветание», «отцветание», «наслаждение»… Все это может открываться художнику то статически, то динамически, то в великой простоте, то в чрезвычайной сложности, то в молчании, то в пении, то в единичности, то во множестве, то намеком, то бурею. Что именно из этих «первообразов» или «первичных состояний» художник увидит, чем он пленится, что выберет, – в этом он свободен. Но каждый такой «предмет» он должен подлинно пережить; он должен быть «взят им в плен»; он должен пройти через некую «одержимость» им, чтобы начать верно говорить из него и художественно показывать его. Такой духовный опыт отнюдь не является его «монополией»; он доступен каждому человеку, способному вообще к духосозерцанию: каждому наивному обывателю, в особенности же призванному художественному критику, который должен быть способен воспринимать каждое произведение искусства в его цельном составе и во всех его необходимых «слоях» и частях.

Согласно этому, каждое произведение искусства как бы хочет сказать человеку: «впусти меня в дух твоей души, переживи меня цельно, дай мне состояться в твоем внутреннем „пространстве“, в твоей жизненной ткани; я подарю тебе счастье, а может быть и муку; я дам тебе углубление и озарение, постижение и очищение, ви́дение и умудрение»… Или иначе: «возьми меня с собою, я несу тебе мудрость и просветление»… Или еще иначе: «Здесь тебя ожидает новая духовная медитация, показанная в образах, прими ее и унеси ее в жизнь»… И человек, который действительно воспримет такое произведение искусства и промедитирует скрытую в нем медитацию, приобщится через его «материю» и через его «образы» к скрытому в них «духовному цветку».

Таков смысл подлинного искусства; в этом его сущность и призвание: оно призвано нести людям истинный аромат духа. Художник не призван «поучать» и «проповедовать»; он не смеет становиться тенденциозным и навязывать людям какую-нибудь доктрину. Он призван сам цвести среди цветов духа, естественно, непреднамеренно (desinvolto), органически и с некой таинственной, легкой, побеждающей властностью; цвести и дарить людям подлинный, чудесный и очистительный аромат своих духовных цветов.

Так обретается критерий художественности; так узнается совершенное произведение искусства. Если выразить этот критерий в виде требования, то мы должны будем сказать:

Художник! Будь верен законам эстетической материи. Эти законы ты должен знать и соблюдать, а материей ты должен владеть вполне. Только тогда ты сумеешь точно и совершенно приспособить материю твоего произведения к требованиям эстетического образа и художественного предмета.

Будь верен также и законам эстетического образа. Ты должен верно постигнуть своеобразие этих «существ» и вполне овладеть ими. Только тогда ты сумеешь оформить весь хоровод созерцаемых и показываемых тобою образов – в строгом и выразительном соответствии с твоим основным замыслом, с твоей предметной медитацией, с ее духовным цветком…

А чтобы возыметь основной замысел, чтобы постигнуть художественный предмет, – ты должен уйти в глубину сердечного созерцания и вопросить из своего созерцающего сердца Бога, мир и человека о тайнах их бытия. Погрузись в эту духовную глубину, как в некое море, и вернись из нее с жемчужиной. Затеряйся в блаженных

пространствах духовного опыта и принеси оттуда самый лучший цветок. И соблюди в своем творчестве верность этой жемчужине или этому цветку. Только тогда ты узнаешь, как и чем живет «предметно одержимый» художник; только тогда ты сможешь создать адекватные предмету образы и точную эстетическую материю: давай необходимое и только необходимое! только предметно укорененное! и ничего лишнего, ничего чрезмерного! только такое, через которое светится и сияет сам первообраз предмета!

Вот правило, вот критерий художественно совершенного искусства. И в будущем – русский народ, пробужденный и очищенный посланными ему небывалыми страданиями, снова вступит на этот великий, классический путь своих великих художников и начнет опять создавать новое и прекрасное искусство.

10. БОРЬБА ЗА АКАДЕМИЮ

Одно из самых тяжелых и опасных наследий революции в России состоит в утрате истинного академического уровня. Высшие учебные заведения, и университеты в особенности, были с самого начала отданы в жертву вожделениям и претензиям революционной среды. Их самостоятельность была осмеяна и попрана; отбор личных сил и выработка программ были изъяты из ведения ученых и переданы в руки неучей; и по мере того как тоталитарное государство упрочивалось, вся академическая жизнь – исследование, преподавание, критика и оценка трудов, дух и направление познающей воли – все было подавлено, искажено и снижено. Академия была превращена в «техникум революции»; ученые были поставлены на колени, и наука в ее истинном значении должна была уйти в нелегальное подполье. Этому извращению и унижению придет однажды конец, и Россия восстановит свой академический дух и уровень.

Что же такое есть академия? В чем ее призвание? Чему должны служить ученые, для того чтобы уровень университета был на истинной высоте?

Академия есть высшая ступень в образовании и воспитании человека; и этим уже определяется ее сущность и своеобразие. Ибо предшествующие ей ступени только подготовляют человека к последней и высшей.

Низшая школа научает человека чтению, писанию и пониманию прочтенного; она учит ребенка собирать свое внимание, овладевать своей памятью и сосредоточиваться в указанном направлении. Хороший наставник непременно позаботится еще и о том, чтобы пробудить в ребенке духовность его инстинкта – доброту, совесть, достоинство, религиозную веру, национальное чувство и правосознание…

Средняя школа учит человека усваивать указанный ему познавательный материал и технически владеть им: понимание должно стать активным размышлением, горизонт ребенка должен год от года становиться все шире, память должна укрепляться и обогащаться. Но авторитет преподавателя остается руководящим: от него исходят разъяснения, указания, уроки, задачи и упражнения. Преподаватель как бы становится между учеником и предметом в качестве посредника и рассказывает ему из предмета и о предмете столько, сколько он признает необходимым и посильным, проверяя внимание ученика, его память и усвоение. Он сообщает ученикам правила и приемы мышления, упражняет их в применении этих правил, исправляет их ошибки и дает им указания. Тем самым он как бы пробуждает и укрепляет («повивает») силу суждения у своих учеников, приучает ее к верной направленности и дисциплине, но оставляя ее до поры до времени в подчиненном состоянии. Талантливый преподаватель, наверное, позаботится еще и о том, чтобы пробудить в учениках интерес к своему предмету, зажечь в них любовь к нему и жажду познания; он вложит в преподавание столько искреннего огня, что ученики, сами того не замечая, начнут жить активной силой суждения, – слагать свои собственные вкусы, воззрения и убеждения; а главное – укреплять и применять духовность своего инстинкта.

И все это составляет только подготовку к высшему образованию, к академии: там – все меняется.

Академия обращается не к ребенку и не к подростку, а к умственно созревшему человеку: она воспитывает его к самостоятельному бытию и мышлению. Конец школьным схемам, пассивно воспринимаемым трафаретам, обязательным приемам и непрерывному контролю! Начинается самодеятельность духа, познания и мысли… И к этой самодеятельности должно вести академическое преподавание. Естественно, что на младших курсах эту самодеятельность надо будить и укреплять («повивать») – советами и разъяснениями, сообщением известных приемов и умений; но на старших курсах студент должен пытаться мыслить и познавать самостоятельно.

Этим академическое преподавание отличается от уроков гимназии по самому существу своему. Здесь совершается не наполнение памяти, не усвоение понятого и не только техническое упражнение мысли. Здесь дело идет об укреплении и углублении силы суждения; здесь сообщается умение самостоятельно подходить к предмету, воспринимать его и исследовать. И на этом должно сосредоточиваться академическое преподавание.

Ошибочно, слепо и печально поступают те профессора, которые и в университетах практикуют гимназический способ обучения, применяя его только к другим, более трудным и сложным содержаниям. У них академия просто не состаивается и не осуществляется: они сами не переросли гимназию и в университете им, строго говоря, делать нечего. И академические экзамены совсем не призваны к тому, чтобы замучивать студенческую память и авторитетно контролировать навязанное мышление. Академия учит предметной мысли и предметному исследованию; и академический экзамен должен проверять не память, а силу суждения и умение ориентироваться в неисследованном и неизвестном…

Академия воспитывает человека к духовной и интеллектуальной самостоятельности, к активному наблюдению и мышлению, к исследованию и, значит, к духовной свободе. Подготовка заканчивается. Экзамен «зрелости» сдан, и молодой человек «созрел». Теперь он может приступить к настоящему развитию своей силы суждения. Ему предстоит непосредственная встреча с предметом, творческое упражнение в самостоятельном испытывании и исследовании. И как хорошо, если он приобщился к начаткам этой самостоятельности еще в гимназии, если он вступает в академическую аудиторию как духовно заинтересованный, как ищущий самостоятельности человек…

То, что академия должна дать ему, есть именно непосредственная встреча с предметом, умение организовывать эту встречу и верно обходиться со своим объектом – будь это материальный мир или душевное явление, математическая величина или функция, живое слово в филологии, трудно уловимое событие истории, верно испытанное право в юриспруденции или духовное обстояние в философии. Юный академик должен научиться самостоятельно и непосредственно воспринимать свой предмет, находить его, выделять его, переживать его, созерцать и исследовать. А опытный академик должен постараться передать ему это умение. Доцент университета призван становиться между слушателем и предметом именно для того, чтобы вызвать их верную жизненную встречу, чтобы показательно организовать это творческое восприятие и вслед за тем исключить себя и сомкнуть разлученное. Он как бы берет студента за руку и ведет его к источнику, чтобы показать ему, как этот источник в действительности выглядит, как его надо находить, как с ним обходиться и как надо через источник доходить до самого предмета; именно в силу этого так называемые «практические занятия» или «просеминарии» и «семинарии» имеют в университетском преподавании особенное значение, вводя студента в научную лабораторию.

Академическое мышление начинает с непосредственного опыта; академическое познание черпает из источника; академическое исследование есть самостоятельное переживание исследователя, ответственная борьба за истину, критическое толкование, упражнение (аскез) силы суждения, искусство доказывать и показывать. В этом слагается личное «воззрение» и «убеждение», выросшее из лично пережитой очевидности. Академия должна сообщать человеку искусство ответственного, одинокого мышления – искусство мыслить из самого предмета, силу целостного созерцания (интуиции) и строгого аналитического наблюдения (индукции). Беспочвенное мышление есть злоупотребление мыслью, свойственное необразованности; дедуктивное мышление есть опасное орудие полуобразованности; и то и другое должно быть преодолено. Академия не устанавливает «догматов»: она вопрошает, ищет и исследует; она не ставит запретов и не ведет к застою: она живет динамически и творчески: но ее динамика – ответственна и осторожна, она испытует, сомневается и проверяет.

Одним словом – академия осуществляет «метод» и воспитывает к «методу». Метод есть первоначально греческое слово; оно обозначает путь к цели; в познании – борьбу за истину. И академия есть именно школа самостоятельной борьбы за истину. Всю свою жизнь научный исследователь борется с самим собой, чтобы приобрести необходимую чистоту, зоркость и гибкость духа; с предметом, чтобы его испытать, увидеть и изобразить; с языком, чтобы верно овладеть им и приспособить его. Он борется из-за истины, чтобы действительно пережить ее, закрепить и выразить. Этим сказано многое, может быть, – все.

Теперь должно быть понятно, почему мы утверждаем, что академия воспитывает человека к свободе: ибо свобода есть ответственная, творческая самостоятельность человека. Но именно поэтому академия может существовать только в атмосфере свободы и творить только из свободы. Это не свобода произвола, и злоупотреблять ею нельзя. Это есть свобода от всяких посторонних требований, от всяких чужеродных науке ограничений, от всякого человеческого давления на совесть и на ум исследователя, от всякого политического и социального угодничества. Это есть внешняя свобода при внутренней связанности. Всякие внешние вмешательства отвергаются для того, чтобы можно было строго следовать требованиям предмета и исследовательской совести. Поэтому это есть освобождение от человеческих претензий, ради служения божественному делу совестного познания. Таков смысл академической свободы.

Вот почему академия вся целиком держится на чувстве ответственности; атмосфера, необходимая ей, есть атмосфера методически-воспитанной, искренно-честной и совестно-проверенной воли к истине. Но надо признать, что и чувство ответственности, и воля к истине возникают не только и не просто из академического духа, но особенно из духа живой религиозности. Воспитывая человека в свободе и приучая его к внутренней дисциплине, воспитывая его к самостоятельности и приучая его к самопреодолению, академия требует от него победы над аутизмом,[9] над произволом и над тщеславием, и приобретения того истинного смирения, которое присуще настоящему ученому.
Всю свою жизнь ученый стоит перед великою тайною видимого и невидимого мира, перед бесконечной глубиной и сложностью Богом созданного Предмета – и созерцает эту живую тайну и глубину и старается воспринять ее и исследовать. Чем выше и значительнее человеческий дух, тем больше его благоговение и его смирение. Чем проницательнее его взор, тем искреннее его изумление, как на это указывал еще Аристотель; тем строже его суждение о самом себе, как это бывает у аскета. Настоящий академик знает свои пределы и пределы своего знания; и потому он не бывает заносчив и не страдает гордостью. Умный академик прекрасно знает, где начинается его «глупость», и никогда не считает себя умнейшим из людей. Он чувствует в себе вечного студента, который всегда будет знать недостаточно и которому только дано счастье расшифровывать Богом созданный мир, как некий Божий иероглиф, – пребывая всегда в борьбе и не надеясь исчерпать свой предмет.
Вот почему тихое, созерцающее и глубокое благоговение является истинным источником академического исследования. И это благоговейное преклонение перед Богом – созданной тайной мироздания, это изумление человека, испытующего Божии «следы» и «лучи» в мире, есть одна из благороднейших молитв, доступных человеку, молитва благодарности и очевидности, ничего не выпрашивающая и ни на что не жалующаяся. Такая молитва несет ученому свои лучшие дары: любовь к предмету, чающему исследования; волю к точной и полной истине; чувство ответственности за всякое утверждение и отрицание; душеочистительное смирение и аскез силы суждения. Поэтому, при верном понимании дела, академия не только не враждебна религии, но, напротив, она представляет собою одну из благороднейших форм религиозности, и творчество истинного ученого есть тихое богослужение. «Понятие» Бога не является объясняющей «гипотезой» в составе науки; но Дух Божий есть истинная и определяющая основа всех академических трудов и достижений.
Все великие ученые последних веков знали и открыто исповедовали это – и Коперник, и Бэкон, и Галилей, и Ньютон, и Кеплер, и Лейбниц, и Бойль, и Ломоносов, и Либих, и фон Майер, и Дю-Буа-Реймон, и Фехнер, и Карлейль. Они выговаривали свое понимание с недвусмысленной ясностью и благоговением; и были в этом правы и безошибочны. Они искали и находили не видимость, а сокровенную сущность. А чтобы проникнуть до сущности, надо смотреть вглубь, туда, где пребывает живая тайна мироздания, – творчески задуманная Господом и заданная нам для творческого исследования. Настоящий исследователь касается этой тайны всегда с благоговением; и, коснувшись, очень скоро убеждается в том, что умственное восприятие мироздания незаметно приводит человека к созерцанию Божества.
Вот почему академия, разучившаяся изумляться и благоговеть, растерявшая чувства любви и ответственности – неминуемо вырождается и перестает быть Академией. Она мертвеет, перестает творить и начинает служить духу разложения, снижения и гибели; ее «ученые» блуждают по поверхности явлений, «распыляют» и «склеивают», повторяют свои или чужие (предписанные им!) мертвые схемы, мыслят слепо, механизируют свой собственный труд и теряют подлинный, живой предмет…
Такова академия, такова истинная сущность университета и всякой высшей школы как таковой (если она еще заслуживает своего имени): это есть лаборатория испытующего и сомневающегося исследования, которое творится в духе религиозного созерцания. Академия возникает из свободы, творит в свободе и воспитывает к свободе; и в то же время она стремится свободно уловить те высокие обязательства и те высшие необходимости, которым человек должен добровольно подчиниться ради предметного познания. Она исследует не для того, чтобы все разложить и разрушить, но для того, чтобы узреть подлинное, верно описать его и творчески созидать жизнеспособное. Она, конечно, есть школа мысли; но эта мысль насыщена любовью и волею: она наблюдает, созерцает и радостно постигает дело рук Божиих.
Поэтому академия требует всего человека; а от него самого – требует нравственного напряжения и религиозного подъема; иначе он не коснется самого главного и заветного: тайны чувственных, нечувственных и сверхчувственных миров.
И первое, с чего всякая академия должна начать, это преодоление всех извне навязанных и потому мертвых умственных схем и трафаретов: все они действуют на мысль, на совесть, на дух и на волю человека подобно трупному яду.

11. О ПАСТЫРСКОМ ПРИЗВАНИИ

Однажды, уже после изгнания, за рубежом, ко мне обратился протестантский пастор

с вопросом, как надлежит, по моему мнению, понимать пастырское призвание? После некоторых колебаний и размышлений я ответил ему следующим письмом.
Многоуважаемый господин Пастор!
Должен сознаться, что вопрос, поставленный в Вашем письме, привел меня в немалое затруднение. Сумею ли я, светский ученый, верно постигнуть и описать сущность пастырского призвания?
Я разделяю всей душой Вашу тревогу и заботу. Наше время предъявляет ко всем нам высокие и неотступные требования. Это время великих испытаний, и каждому из нас необходимо проверить сущность и смысл своего призвания. Пробил час суда над собою, час духовного очищения и обновления. Наши поколения блуждают по неверным дорогам и опасным берегам; они утратили тот благодатный, но «узкий» путь, который был нам указан. Они должны одуматься и начать религиозное обновление. Они должны вновь воспламенить в себе тот «Огонь», который был принесен нам Спасителем (Лк 12:49). Кому нужна соль, потерявшая свою силу? Куда могут завести нас ослепшие вожди? Верьте, я разделяю Вашу священную тревогу и постоянно думаю о причинах современного религиозного оскудения…
Нам остается одно: начать неутомимую борьбу за религиозное очищение и обновление. Надо предвидеть, что это будет борьба великого напряжения и долгого дыхания. Мы должны вернуть себе цельную веру, в которой сердце и разум, созерцание и воля – сольются в единый гимн, в такой гимн, чтобы на него отозвалась сущая духовность нашего инстинкта; чтобы он, обуздавши своего «волка», обновился в своем духовном зраке и приступил бы к новой жизни. Тогда будут найдены новые творческие идеи и начнутся новые творческие дела, завещанные нам Евангелием. И сложится новая христианская культура.
И если не от христианского пастырства нам ждать этого религиозного очищения и обновления – то от кого же? И если христианское духовенство не найдет в себе силы, мудрости и искренности для этого подвига, – то куда же обратить нам наши взоры?
Но именно поэтому, думается мне, было бы вернее и плодотворнее, если бы нашлись духовные лица, которые смогли бы и захотели бы произнести великие, руководящие слова о сем предмете из глубины данного им предметного опыта, – чтобы это были слова истинной жизни и истинного обновления… Я – светский человек, а светским людям не подобает притязательность в вопросах внутрицерковного строительства. Но раз Вы желаете слышать мое суждение, то я отложу неуместную на сей раз воздержанность и попытаюсь дать Вам исповеднический ответ. Но для этого позвольте мне видоизменить Ваш вопрос так: чего мы, православные христиане, ожидаем от наших пастырей? с какими запросами мы идем к ним? чем они могут заслужить наше доверие и нашу любовь?
Не буду говорить о богословском образовании и о подготовке к духовному пастырству: это подразумевается само собою. Они должны знать Писание, и Предание, и все учение Церкви лучше нас и разуметь все это глубже нас, чтобы помогать нам в часы сомнения и в поисках разумения. Они должны также владеть душевно-духовным искусством пастыря, глубокочувствием и ясным взором духовника, проницательно разумеющего индивидуальную человеческую душу и способного указать ей в трудную минуту жизни верный путь. Эти познания необходимы, это искусство драгоценно; здесь не может быть двух мнений. Но мне кажется, что мы ожидаем от них большего; что для нас важнее всего – истинный и живой евангельский дух, тот дух, который свидетельствует нам о Христовой благодати. Я разумею: молитвенную силу, любящее сердце и свободную, живую христианскую совесть…
Что может дать человеку богословское наставление, проистекающее из отвлеченного, сухого, логически умствующего рассудка, не созерцающего сердцем Христа Спасителя и не дающего нам увидеть Его? Какое значение имеет абстрактная «экзегеза» или дедуктивный аргумент в созерцательных и молитвенных пространствах живой религиозности? Могут ли они дать религиозную очевидность душе, ищущей Божьего света и огня, чающей живого Бога? Сколько раз, слушая за границей беседы и проповеди инославного духовенства, я думал о том, как богато оно книжною образованностью и как скупо оно в дарах сердца и духа! Как чуждо это русской православной душе!
Поистине, нет лучшего религиозного научения, нет более действительного проповеднического служения, как сила и искренность личной молитвы. Ибо вера крепнет и распространяется не от логических аргументов, и не от усилий самонасилующейся воли, и не от повторения слов и формул, но от живого восприятия Бога, от молитвенного огня, от очищения, подъема и просветления сердец, от живого созерцания, от реального восприятия Благодати. Я полагаю, что очень многое зависит от способности священника искренно и беззаветно молиться сердцем, ибо если он способен к этому, и если он молится так в своем уединении, то церковная его молитва будет зажигать, очищать и просветлять сердца его прихожан. Это пламя одинокой молитвы будет гореть и в его церковном богослужении, и в его

проповеди, и в его жизненных делах. И мы, его прихожане, сразу почувствуем сердцем, что «Сам Дух» молится в нем «воздыханиями неизреченными» (Рим 8:26) и что эти воздыхания передаются и нам по неизреченным путям.
Пастырь, коему присуща эта искренность и сила молитвы, является как бы «неопалимой купиной» в своем приходе: прихожане его, иногда сами того не замечая и не разумея, становятся соучастниками его молитвы; им передается теплота его веры; они приобщаются его духовному полету. Его поучения воспринимаются по-особому: не только умом, а сердцем, живою совестью и честною волею. Его беседы несомы творческим духовным опытом; они проникнуты живым христианским созерцанием; они идут из сердца и воспринимаются всею душою. И уже простая встреча с ним испытывается как утешение и безмолвное ободрение.
А в основе этого лежит некий религиозный закон, согласно которому глубина веры растет и крепнет в молитве, ибо молитва есть благодатное вознесение души к Богу, озаряющее, очищающее и удостоверяющее. Вот почему пастырь должен быть живым источником и живою школою молитвы.
Второе, что мы желаем найти в нем, – это живое любящее сердце. Ведь лучшее христианское благовествование и утешение проистекает из доброты и сердечного понимания. Пока человеческое чувство сохнет и глохнет в умственно-отвлеченных богословских построениях, пока ум холодно рассуждает и выносит приговоры, враждует в прениях и каменеет в ненависти – до тех пор человеку остается недоступным все откровение Господа Христа. Бессердечные люди не постигают в Евангелии самого главного; а поняв, не живут им и не осуществляют его. Черствая жадность делает человека слепым и глухим. «Реки воды живой» (Ин 7:38) текут только для любящих людей; ибо любовь отверзает человеку зрение и слух – и для Христова откровения, и для жизни и страдания других людей.
Если священник имеет эту любовь, то она чувствуется и в его церковной молитве, слышится и в его проповеди, обнаруживается и в его делах. Кто беседует с ним или помогает ему, у того возникает особое ощущение: он чувствует, что воспринял от своего духовника нечто драгоценное, жизненно важное и ободряющее, что он испытал свет и теплоту духовного огня, что он почувствовал живую доброту, что он приблизился к тому, что разумел Христос, когда говорил о любви. Ибо живое сердце имеет запас доброты для всех: утешение для горюющего, помощь для нуждающегося, совет для беспомощного, ласковое слово для всякого, добрую улыбку для цветов и для птичек. И простое обхождение с таким человеком становится незаметно живою школою сердечного участия, любовного такта, христианской мудрости. И все это прекрасно и благодатно, ибо истинный духовник есть носитель христианского духа, духа любви и сердечного созерцания.
И вот третье, чего мы ищем и ждем от нашего пастыря, – это свободная и творческая христианская совесть. Эта совесть должна жить в нем как самостоятельная и независимая сила, как критериальная мера добра и зла, – мера, по которой мы могли бы проверять, выправлять и крепить нашу собственную совесть. Там, где мы беспомощно сомневаемся и колеблемся, он, как мастер совести, должен видеть ясно и глубоко; где мы блуждаем и заблуждаемся, он должен знать и указывать нам прямую дорогу; где мы вопрошаем, он должен иметь ответ. Он должен поддерживать нас в искушениях и соблазнах; он должен быть нашей опорой в колебании и изнеможении. Он должен сразу прозревать, где есть нечестность, неискренность, измена; но при этом – хранить справедливость в суде и осуждении. Ибо совестный христианин не преувеличивает – ни в утверждении, ни в отрицании; его суждение исходит из предметно-видящего смирения, но произносится с мужеством и силою, ибо не он произносит его, а предметный огонь в нем. Нам нужен искренный и откровенный исповедник, ничем и ни в чем не подкупный, не алчный, бесстрашный пред сильными и свободный от властолюбия; нам нужен живой очаг христианской совести, с чистым пламенем и кротким светом.
Мы же сами должны обеспечить ему независимую и достойную жизнь: мы должны раз навсегда отрешить требу от мзды, чтобы прогасить и в нас самих и в нашем пастыре идею о том, будто молитва «покупается» и благодать «продается»; чтобы не было торговли о святыне; чтобы пастырь мог молиться свободно, не помышляя о прибытке, а прихожанин мог обращаться к нему за помощью, не учитывая своих средств и расходов. Благодать и деньги инородны друг другу; недостойно мерять Божие дело монетою; невозможно унижать своего пастыря нуждою и поборами. Дело церкви есть дело духа, любви и совести, дело молитвы и созерцания; и прихожане должны снять со своего пастыря заботу о земном, обеспечивая ему необходимое и достойное.
Я выскажу Вам, многочтимый господин Пастор, мое глубокое убеждение, если призна́юсь, что отношу все мною высказанное не только к нашим православным общинам, но и к общинам и священнослужителям всех христианских исповеданий. Я думаю, что всюду, где веет дух Христа, прихожане будут счастливы иметь в своем пастыре живой источник молитвы, любви и христианской совести; и что сии три основы составляют драгоценнейшую и сильнейшую скрепу христианской Церкви вообще.

Мне не кажется при этом, что высказанные мною ожидания слишком высоки и трудны в осуществлении, ибо дело священника, пастыря и духовника не есть обычная профессия, сходная с другими, но требует особого призвания и особых даров. Эти дары даны не всякому; но тот, кому они не даны, не должен посягать на это звание. Здесь дело не столько в «умении», сколько во «вдохновении»; не столько в обрядовой словесности, сколько в живой полноте чувства (по-гречески «пле́рома»); не в отбытии «требы», а в духе ее совершения. Пастырь, не знающий о требованиях «плеромы» и не укрепивший в них своего сердца, – на чем утвердит он свою веру и молитву, как поведет он своих прихожан к Богу, чем наполнит он свой храм, как укрепит он свой приход? Спрашиваю и не нахожу ответа…
Простите же мне мое откровенное письмо. Бывают времена, когда полуправда становится недопустимой и непростительной. Я не мог и не смел ограничиться ею; но высказывая здесь высказанное, я все время имел живое чувство, что самое время, нами переживаемое, время страшное, болезненное, мучительное, диктует мне свои требования и ожидания. И я глубоко благодарен Вам за то, что Ваш вопрос дал мне возможность облегчить мое сердце изложением этих ожиданий и требований.
С истинным почтением
(Подпись).

12. О ПРИЗВАНИИ ВРАЧА

В былые годы вся наша семья в Москве лечилась у врача, которого мы все любили как лучшего друга. Мы питали к нему безграничное доверие, и все-таки, как я вижу теперь, мы недостаточно его ценили… В дальнейшем тяжкая судьба, растерзавшая Россию, разлучила и нас с ним; и жизнь дала мне новый опыт в других странах. И вот, чем дальше уходило прошлое и чем богаче и разнообразнее становился мой жизненный опыт пациента, тем более я научался ценить нашего старого друга, тем более он вырастал в моих глазах. Он лечил своих пациентов иначе, чем иностранные доктора, лучше, зорче, глубже, ласковее… и всегда с бо́льшим успехом. И однажды, когда меня посетила болезнь особенно длительная и с виду «безнадежная», я написал ему и высказал ему то, что лежало на сердце. Я не только «жаловался» и не только «вспоминал» его с чувством благодарности и преклонения, но я ставил ему также вопросы. Я спрашивал его, в чем состоит тот способ диагноза и лечения, который он применяет? И что – этот способ присущ ему как личная особенность (талант, умение, опыт?), или же это есть зрелый терапевтический метод? И если это есть метод, то в чем именно он состоит? Можно ли его закрепить, формулировать и сохранить для будущих поколений? Потому что «метод» означает «верный путь», а кто раз открыл верный путь, тот должен указать его другим…
Только через несколько месяцев получил я от него ответ; но этот ответ был драгоценным документом, который надо было непременно сохранить. Это было своего рода человеческое и врачебное «credo», исповедание веры, начертанное благородным и замечательным человеком. При этом он просил меня – в случае если я его переживу – опубликовать это письмо, не упоминая его имени. И вот я исполняю ныне его просьбу, как желание покойного друга, и предаю его письмо гласности. Он писал мне:
«Милый друг! Ваше вопрошающее письмо было для меня сущею радостью. И я считаю своим долгом ответить на него. Но скажу откровенно: это было нелегко. Я уже стар, и времени у меня, как всегда, немного. Отсюда эта задержка; но я надеюсь, что вы простите мне ее. У меня иногда бывает чувство, что я действительно мог бы сказать кое-что о сущности врачебной практики. Но несть спасения во многоглаголании… А отец мой всегда говаривал мне: „уловил, понял – так скажи кратко; а не можешь кратко, так помолчи еще немножко!“…
Однако обратимся к делу.
То, что Вы так любезно обозначили как мою «личную врачебную особенность», по моему мнению, входит в самую сущность практической медицины. Во всяком случае, этот способ лечения соответствует прочной и сознательной русской медицинской традиции.
Согласно этой традиции, деятельность врача есть дело служения, а не дело дохода; а в обхождении с больными – это есть не обобщающее, а индивидуализирующее рассмотрение; и в диагнозе мы призваны не к отвлеченной «конструкции» болезни, а к созерцанию ее своеобразия. Врачебная присяга, которую приносили все русские врачи и которою мы все обязаны русскому Православию, произносилась у нас с полною и благоговейною серьезностью (даже и неверующими людьми): врач обязывался к самоотверженному служению; он обещал быть человеколюбивым и готовым к оказанию деятельной помощи всякого звания людям, болезнями одержимым; он обязывался безотказно являться на зов и по совести помогать каждому страдающему; а XIII том Свода законов (ст. 89, 132, 149 и др.) вводил его гонорар в скромную меру и ставил его под контроль.
Но этим еще не сказано самое важное, главное, – то, что молчаливо предполагалось как несомненное. Именно – любовь. Служение врача есть служение любви и

со-страдания; он призван любовно обходиться с больным. Если этого нет, то нет главного двигателя, нет «души» и «сердца». Тогда все вырождается и врачебная практика становится отвлеченным «подведением» больного под абстрактные понятия болезни (morbus) и лекарства (medicamentum). Но на самом деле пациент совсем не есть отвлеченное понятие, состоящее из абстрактных симптомов: он есть живое существо, душевно-духовное и страдающее; он совсем индивидуален по своему телесно-душевному составу и совсем своеобразен по своей болезни. Именно таким должен врач увидеть его, постигнуть и лечить. Именно к этому зовет нас наша врачебная совесть. Именно таким мы должны полюбить его, как страдающего и зовущего брата.

Милый друг, это не преувеличение и не парадокс, когда я утверждаю, что мы должны любить наших пациентов. Я всегда чувствую, что если пациент мне противен и вызывает во мне не сострадание, а отвращение, то мне не удается вчувствоваться в его личность и я не могу лечить его как следует. Это отвращение я непременно должен преодолеть. Я должен почувствовать моего пациента, мне надо добраться до него и принять его в себя. Мне надо, так сказать, взять его за руку, войти с ним вместе в его «жизненный дом» и вызвать в нем творческий, целительный подъем сил. Но если мне это удалось, то вот – я уже полюбил его. А там, где мне это не удавалось, там все лечение шло неверно и криво.

Лечение, целение есть совместное дело врача и самого пациента. В каждом индивидуальном случае должно быть создано некое врачебно-целебное «мы»: он и я, я и он; мы вместе и сообща должны вести его лечение. А создать это возможно только при взаимной симпатии. Психиатры и невропатологи наших дней признали это теперь как несомненное. При этом пациент, страдающий, теряющий силы, не понимающий своей болезни, зовет меня на помощь; первое, что ему от меня нужно, это сочувствие, симпатия, вчувствование – а это и есть живая любовь. А мне необходим с его стороны откровенный рассказ, и в описании болезни, и в анамнезе; мне нужна его откровенность; я ищу его доверия – и не только в том, что я «знаю», «понимаю», «помогу», но особенно в том, что я чую его болезнь и его душу. А это и есть его любовь ко мне, которую я должен заслужить и приобрести. Он будет мне тем легче и тем больше доверять, чем живее в нем будет ощущение, что я действительно принимаю бремя его болезни, разделяю его опасения и его надежды и решил сделать все, чтобы выручить его. Врач, не любящий своих пациентов… что он такое? Холодный доктринер, любопытный расспрашиватель, шпион симптомов, рецептурный автомат… А врач, которого пациенты не любят, к которому они не питают доверия, он похож на «паломника», которого не пускают в святилище, или на полководца, которому надо штурмовать совершенно неприступную крепость… Это первое. А затем мне нужно прежде всего установить, что пациент действительно болен и действительно желает выздороветь: ибо бывают кажущиеся пациенты, мнимые больные, наслаждающиеся своею «болезнью», которых надо лечить совсем по-иному. Надо установить как бесспорное, что он страдает и хочет освободиться от своего страдания. Он должен быть готов и способен к самоисцелению. Мне придется, значит, обратиться к его внутреннему, сокровенному «самоврачу», разбудить его, войти с ним в творческий контакт, закрепить эту связь и помочь ему стать активным. Потому что в конечном счете всякое лечение есть самолечение человека и всякое здоровье есть самостоятельное равновесие, поддерживаемое инстинктом и всем организмом в его совокупности…

Да, каждый из нас имеет своего личного «самоврача», который чует свои опасности и недуги, и молча, ни слова не говоря, втайне принимает необходимые меры: то гонит на прогулку, то закупоривает кровоточащую рану, то гасит аппетит (когда нужна диета), то посылает неожиданный сон, то прекращает перенапряженную работу мигренью. Но есть люди, у которых этот таинственный «самоврач» находится в загоне и пренебрежении: они живут не инстинктом, а рассудком, произволом или же дурными страстями – и не слушают его, и перестают воспринимать его тихие, мудрые указания; а он в них прозябает в каком-то странном биологическом бессилии, исключенный, загнанный, пренебреженный…

Без творческого контакта с этой самоцелительной силой организма можно только прописывать человеку полезные яды и устранять кое-какие легкие симптомы; но пути к истинному выздоровлению – не найти. Настоящее здоровье есть творческая функция инстинкта самосохранения; в нем сразу проявляется – и воля, и искусство, и непрерывное действие индивидуального «самоврача». А контакт с этим врачом добывается именно через вчувствование, через верные советы, через оптимистическое ободрение больного и ласковую суггестию (своего рода «наводящее внушение»).

Отсюда уже ясно, что каждое лечение есть совершенно индивидуальный процесс. На свете нет одинаковых людей; идея равенства есть пустая и вредная выдумка. Ни один врач никогда не имел дела с двумя одинаковыми пациентами или тем более с двумя одинаковыми болезнями. Каждый пациент единствен в своем роде и неповторим.

Мало того, на самом деле нет таких «болезней», о которых говорят учебники и обыватели; есть только больные люди, и каждый из них болеет по-своему. Все нефритики – различны; все ревматики – своеобразны; ни один неврастеник не подобен другому. Это только в учебниках говорится о «болезнях» вообще и «симптомах» вообще; в действительной жизни есть только «больные в частности», т. е. индивидуальные организмы (утратившие свое равновесие) и страдающие люди. Поэтому мы, врачи, призваны увидеть каждого пациента в его индивидуальности и во всем его своеобразии и постоянно созерцать его как некий «уникум».
Это значит, что я должен создать в себе – наблюдением и мыслящим воображением – для каждого пациента как бы особый «препарат», особый своеобразный «облик» его организма, верную «имаго» страдающего брата. Я должен созерцать и объяснять его состояния, страдания и симптомы через этот «облик», я должен исходить из него в моих суждениях и всегда быть готовым внести в него необходимые поправки, дополнения и уточнения. Мне кажется, что этот процесс имеет в себе нечто художественное, что в нем есть эстетическое творчество; мне кажется, что хороший врач должен стать до известной степени «художником» своих пациентов, что мы, врачи, должны постоянно заботиться о том, чтобы наше восприятие пациентов было достаточно тонко и точно. Нам задано «вчувствование», созерцающее «отождествление» с нашими пациентами: и это дело не может быть заменено ни отвлеченным мышлением, ни конструктивным фантазированием.
Каждый больной подобен некоему «живому острову». Этот остров имеет свою историю и свою «предысторию». Эта история не совпадает с анамнезом пациента, т. е. с тем, что ему удается вспомнить о себе и рассказать из своего прошлого; всякий анамнез имеет свои естественные границы, он обрывается, становится неточен и проблематичен даже тогда, когда пациент вполне откровенен (что бывает редко) и когда он обладает хорошей памятью. Поэтому материал, доставленный анамнезом, должен быть подтвержден и пополнен из сведений, познаний, наблюдений и созерцания самого врача. Он должен совершить это посредством осторожного предположительного выспрашивания и внутреннего созерцания, но непременно в глубоком и осторожном молчании («про себя»). Так называемая «история болезни» (historia morbi) есть на самом деле не что иное, как вся жизненная история самого пациента. Я должен увидеть больного из его прошлого; если это мне удастся, то я имею шанс найти ключ к его настоящей болезни и отыскать дверь к его будущему здоровью. Тогда его наличная болезнь предстанет предо мною как низшая точка его жизни, от которой может начаться подъем к выздоровлению.
Человеческий организм, как живая индивидуальность, есть таинственная система самоподдержания, самопитания, самообновления – некая целокупность, в которой все сопринадлежит и друг друга поддерживает. Поэтому мы не должны ограничиваться одними симптомами и ориентироваться по ним. Симптомы, с виду одинаковые, могут иметь различное происхождение и совершенно различное значение в целостной жизни организма. Симптом является лишь поверхностным исходным пунктом; он дает исследователю лишь дверь, как бы вход в шахту. Он должен быть поставлен в контекст индивидуального организма, чтобы осветить его и чтобы быть освещенным из него.
Как часто я думал в жизни о том, что филологи, рассматривающие слово в отвлечении, в его абстрактной форме, в отрыве от его смысла, как пустой звук, – убивают и теряют свой предмет. И подобно этому обстоит у нас, у врачей. Все живет в контексте этого индивидуального, Богом созданного, органически-художественного сцепления, в живом контексте этой человеческой личности, с ее индивидуальным наследственным бременем, с ее субъективным прошлым, настоящим и органическим окружением. Сравнительная анатомия учит нас построять в синтетическом созерцании – по одной кости весь организм. Врачебный диагноз требует от нас, чтобы мы по одному верно наблюденному симптому – ощупью и чутьем, исследуя и созерцая, постепенно – построяли всю индивидуальную систему дыхания, питания, кровообращения, рефлексов, внутренней секреции, нервного тонуса и повседневной жизни нашего пациента. Это органическое созерцание мы должны все время достраивать и исправлять на ходу всевозможными приемами: испытующими вопросами, которые ставятся мимоходом, без особого подчеркивания и отнюдь не пугают больного; молчаливыми наблюдениями за его с виду незначительными проявлениями, движениями и высказываниями; молчаливыми прогнозами, о которых больной не должен подозревать; осмыслением его походки; анализом его крови и других выделений т. д. Все это невозможно без вчувствования, и вчувствование невозможно без любви. Все это доступно только художественному созерцанию. И практикующий врач поистине может быть сопоставлен с «идиографическим» историком, исследующим одно-единственное в своем роде и его особенно заинтересовавшее «историческое явление».
Человек, вообще говоря, становится «тем», что он ежедневно делает или чего не делает. Пусть он только попробует прекратить необходимое ему движение или

целительный сон – и из этих упущенных им «невесомостей» каждого дня у него скоро возникнет болезнь. Напротив, если он ежедневно хотя бы понемногу будет грести веслами или если он научится засыпать хотя бы на пять минут среди повседневной суеты, – то он скоро приобретет себе при помощи этих ежедневных оздоровляющих упражнений некий запас здоровья.

Поэтому здоровая, гигиеничная «программа дня», могущая постепенно восстановить утраченное равновесие организма, обещает каждому из нас исцеление и здоровье. Настоящее врачевание не просто старается устранить лекарствами известные неприятные и болезненные симптомы, нет, оно побуждает организм, чтобы он сам преодолел эти симптомы и больше не воспроизводил их. И точно так же дело не только в том, чтобы отвести смертельную опасность, но в том, чтобы выработать индивидуально верный образ жизни и научить пациента наслаждаться им. Эти слова точно передают главную мысль: настоящее «лекарство» – не горько, а сладостно; оно изобретается врачом для данного пациента, в особицу, и притом изобретается совместно с пациентом; оно должно вызвать у пациента жажду жизни, дать ему жизнерадостность и поднять на высоту его творческие силы. Здоровье есть равновесие и наслаждение. Лечение есть путь, ведущий от страдания к радости.

Есть поговорка: «Подбирай не Сеньку по шапке, а шапку по Сеньке». Это верно и для всякой одежды и обуви. Это применимо и к лекарствам, и к образу жизни. Нет всеисцеляющих средств; «панацея» есть вредная иллюзия. Нет такого «впрыскивания» и нет такого образа жизни, которые были бы всем на пользу. Если врач изобретает новое средство или новый образ жизни (напр., режим Кнейпа или вегетарианство) и начинает применять его у всех пациентов – настаивая, экспериментируя, внушая и триумфируя, – то он поступает нелепо и вредно. Я называю такое лечение «прокрустовым врачеванием», памятуя о легендарном разбойнике, укладывавшем всех людей на одну и ту же кровать: длинному человеку он обрубал «излишки», короткого он вытягивал до «нужной» мерки. Такие врачи всегда встречались; они попадаются и теперь. Такой врач «любит» тех пациентов, которым его новое средство «помогает» – ибо они угождают его тщеславию и доходолюбию; а к тем, которым его мнимая «панацея» не помогает, он относится холодно, грубо или даже враждебно.

Утверждая все это, я совсем не отрекаюсь от всех наших лабораторий, анализов, просвечиваний, рентгеновских снимков, от наших измерений и подсчетов. Но все эти арифметические и механические подсобные средства нашей практики получают свое настоящее значение от верного применения: все это только начальные буквы нашего врачебного текста; это естественнонаучная азбука наших диагнозов, но отнюдь еще не самый диагноз. Диагноз осуществляется в живом художественно-любовном созерцании страдающего брата; и врачебная практика есть индивидуально примененное исследование, отыскивающее тот путь, который восстановил бы в нем утраченное им органическое равновесие.

Но это еще не все. Горе тому из нас, кто упустит в лечении духовную проблематику своего пациента и не сумеет считаться с нею! Врач и пациент суть духовные существа, которые должны совместно направить судьбу страдающего духовного человека. Только при таком понимании они найдут верную дорогу. Человек не гриб и не лягушка: энергия его телесного организма, его «соматического Я», дана ему для того, чтобы он тратил и сжигал его вещественные запасы в духовной работе. И вот есть люди, которые сжигают слишком много своей энергии и своих веществ в духовной работе – и от этого страдают; и есть другие люди, которые пытаются истратить весь запас своих телесных сил и веществ – через тело, духом же пренебрегают – и от этого терпят крушение. Есть болезни воздержания (аскеза) и болезни разнуздания (перетраты). Есть болезни пренебреженного и потому истощаемого тела; и есть болезни пренебреженного и потому немощного духа. Врач должен все это установить, взвесить и найти индивидуально-верное решение; и притом так, чтобы пациент этого не заметил. Нельзя лечить тело, не считаясь с душою и духом; но дух очень часто и знать не желает о том, что его «лечат»… Поэтому каждый из нас, врачей, должен иметь доступ ко многим тонкостям душевных болезней, всегда иметь при себе «очки» нервного врача и применять их осторожно и молчаливо…

Только на этом пути мы можем осуществить синтетическое, творчески живое диагностическое созерцание и врачевание. Только так мы постигнем страдание нашего пациента в его органической целокупности и сумеем верно облегчить его таинственную болезнь.

Милый друг! Я бы хотел вручить Вам эти отрывочные замечания как своего рода «исповедание» старого русского врача. Это не мои выдумки. Я только всю жизнь применял эти правила и теперь выговорил их. Они укоренены в традициях русской духовной и медицинской культуры и должны быть переданы по возможности новым подрастающим поколениям русских врачей. А так как я, наверное, завершу мой земной путь раньше Вас, то прошу Вас об одолжении: сохраните мое письмо и опубликуйте его после моей смерти там и тогда, когда Вы признаете это

целесообразным. Но не называйте при этом моего имени, потому что, правда же, дело не в имени, а в культурной традиции русского врача. Да и времена теперь такие, что всякое неосторожно названное имя может погубить кого-нибудь».
Письмо заканчивалось дружеским приветом и полною подписью. А мне оставалось только исполнить просьбу моего старого друга, что я ныне и делаю.

13. О ПОЛИТИЧЕСКОМ УСПЕХЕ

(Забытые аксиомы)

Самые опасные предрассудки – это те, которые замалчиваются и не выговариваются. Так обстоит особенно в политике, где предрассудки цветут буйно и неискоренимо. И вот первый политический предрассудок должен быть формулирован так:
«Что такое политика – известно каждому; тут не о чем разговаривать»…
«Известно каждому»… Но откуда же это ему известно? Откуда приходит к людям верное понимание всего того тонкого, сложного и судьбоносного, что таит в себе политика? Что же, это правильное постижение присуще людям «от природы»? Или, может быть, оно дается им во сне? Откуда этот предрассудок, будто каждому человеку «само собой понятно» все то, что открывается только глубокому, дальнозоркому и благородному духу? Не из этого ли предрассудка вырос современный политический кризис? Недаром человечество постепенно приходит к тому убеждению, что наш век есть эпоха величайших политических неудач, известных в мировой истории. И может быть, уже пора извлечь уроки из этих неудач и подумать о новых путях, ведущих к спасению…
Было бы необычайно интересно и поучительно проследить через всю историю человечества и установить, какие данные, какие предпосылки ведут к настоящему политическому успеху и что надо делать, чтобы добиться в жизни такого подлинного политического успеха? В этой области человеческий опыт чрезвычайно богат и поучителен – от древности и до наших дней… Кто, собственно говоря, имел политический успех? Какими путями он шел к нему? Кто, наоборот, терпел крушение и почему? И в конце концов, что же такое есть «политический успех» и в чем он состоит?
Установим прежде всего, что в неопределенной и легко вырождающейся сфере «политики» отдельные люди и целые партии могут иметь кажущийся успех, который в действительности будет фатальным политическим провалом. Люди слишком часто, говоря о политике, разумеют всякие дела, хлопоты и интриги, которые помогают им захватить государственную власть, не останавливаясь ни перед какими подходящими средствами, фокусами, подлостями и преступлениями. Люди думают, что все, что делается ради государственной власти, из-за нее, вокруг нее и от ее лица, – что все это «политика», совершенно независимо от того, каково содержание, какова цель и какова ценность этих деяний. Самая коварная интрига, самое отвратительное преступление, самое гнусное правление – является с этой точки зрения «политикой», если только тут замешана государственная власть.
Так, история знает людей и партии, которые делали свою скверную и преступную политику, нисколько не заботясь и даже не помышляя об истинных целях и задачах государства, о политическом общении, о благе народа в целом, о судьбах нации, о родине и о ее духовной культуре. Они искали власти, они желали править и повелевать. Иногда они совсем даже не знали, что они будут делать после захвата власти. Иногда они открыто выговаривали, что они преследуют интересы одного-единственного класса и ничего не желают знать о народе в целом или об отечестве. Они бывали готовы жертвовать народом, родиной, ее свободой и культурой – во имя захвата власти и во имя классового злоупотребления ею. Иногда же они обманно прикрывались «социальною программой», с тем чтобы после захвата власти творить свои собственные желания, вожделения и интересы… История знает множество авантюристов, честолюбцев, хищников и преступников, овладевших государственною властью и злоупотреблявших ею. Нужно быть совсем слепым и наивным, чтобы сопричислять эти разбойничьи дела к тому, что мы называем Политикой.
Когда мы видим в Древней Греции в эпоху Пелопонесской войны, как люди высшего класса связуются такими обязательствами: «Клянусь, что я буду вечным врагом народа и что сделаю ему столько зла, сколько смогу» (см. у Аристотеля и Плутарха), то мы отказываемся признать это «политической деятельностью»… Когда в той же Греции властью овладевают повсюду честолюбивые, жадные и легкомысленные тираны, то это не Политика, а гибель политики. Когда в Милете демократы, захватив власть, забирают детей богатого сословия и бросают их под ноги быкам; а аристократы, вернувшись к власти, собирают детей бедного сословия, обмазывают их смолой и сжигают живыми (см. у Гераклита Понтийского), то это не Политика, а ряд позорных злодеяний.
Когда мы изучаем историю таких римских «цезарей», как Тиберий, Калигула, Нерон, Вителлий, Домициан, то мы чувствуем, что задыхаемся от отвращения ко всем их низостям и жестокостям, к их разврату и злодейству – и нет тех аргументов,

которые заставили бы нас признать их деятельность «политической» и «государственной»: она остается криминальной и развратной.
Когда в Италии в XV веке воцаряются тираны, – почти в каждом городе свой, – то их злодейства можно называть «политикой» только по недоразумению. Нет того вероломства, нет той жестокости, нет того ограбления, нет того кощунства, которого бы они ни совершали; нет той противоестественности, перед которой они останавливались бы. Такие имена, как Галеаццо Мария Сфорца, Ферранте Аррагонский, Филипп Мария Висконти, Сигизмунд Малатеста, Эверсо д'Ангвиллари – должны найти себе место в истории мировых преступников, а не в истории Политики. Ибо политика имеет свои здоровые основы, свои благородные, духовные аксиомы, – и тот, кто их попирает, причисляет сам себя к злодеям.
Робеспьер, Катон и Марат были не политические деятели, а палачи. Тоталитарные деспоты и террористы наших дней позорят политику и злоупотребляют государством; им место среди параноиков, прогрессивных паралитиков и преступников, а не среди политических правителей.
И вот если такие люди «имели успех», если им удавалось захватить в государстве власть и осуществить в своей жизни торжество произвола и своекорыстия, то это означает, что они «преуспели» в своей частной жизни, на горе народу и стране, а сам народ переживал эпоху бедствий и унижений, может быть, прямую политическую катастрофу. С формальной точки зрения их житейская борьба и их карьера имела «политический» характер, потому что они добивались государственной власти и захватывали ее. Но по существу дела их деятельность была антиполитической и противогосударственной. Как авантюристы и карьеристы – они «преуспевали»; но как «политики» они осуществляли позорный провал, ибо они губили свой народ в нужде, страхе и унижениях. Их «орудие» – государственный аппарат – имело политический смысл и государственное значение; но их цель попирала всякий политический смысл, и последствия их дел были государственно-разрушительны. Тот путь, которым они шли, казался им, а может быть, и народной массе – «политическим»; но то, что они делали, и способ их деятельности, и создаваемое ими – все это было на самом деле противогосударственно, противообщественно, праворазрушительно, антиполитично и гибельно: источник несправедливостей, бесчисленных страданий, ненависти, убийств, развала и разложений.
Все это означает, что Политику нельзя рассматривать формально и расценивать по внешней видимости. Она не есть дикая скачка авантюристов; она не есть погоня преступников за властью. Есть основное и общее правило, согласно которому никакая человеческая деятельность не определяется теми средствами или орудиями, которые она пускает в ход, – ни медицина, ни искусство, ни хозяйство, ни политика. Все определяется и решается тою высшею и предметною жизненной целью, которой призваны служить эти средства. Государственная власть есть лишь средство и орудие, призванное служить некой высшей цели; и не более того. Дело определяется тем великим, содержательным заданием, которому государственная власть призвана служить и в действительности служит. Политика не есть пустая «форма» или внешний способ; она зависит от цели и задания, так что цель определяет и форму власти, и способ ее осуществления. Политика есть сразу: и содержание и форма. И поэтому истинный политический успех состоит не в том, чтобы завладеть государственной властью, но в том, чтобы верно ее построить и направить ее к верной и высокой цели.
Итак, надо различать истинный политический успех и мнимый. Частный, личный жизненный «успех» тирана есть мнимый успех. Истинный успех есть публичный успех и расцвет народной жизни. И если кто-нибудь удовлетворяется устройством своей личной карьеры и пренебрегает благополучием народа и расцветом его национальной жизни, то он является предателем своего народа и государственным преступником.
Итак, что же есть истинная политика?
Политика есть прежде всего служение – не «карьера», не личный жизненный путь, не удовлетворение тщеславия, честолюбия и властолюбия. Кто этого не понимает или не приемлет, тот не способен к истинной политике: он может только извратить ее, опошлить и сделать из нее карикатуру или преступление. И пусть не говорят нам, что «большинство» современных политиков смотрит на дело «иначе»: если это так, то все беды, опасности и гнусности современной «политики» объясняются именно этим.
Служение предполагает в человеке повышенное чувство ответственности и способность забывать о своем личном «успехе-неуспехе» перед лицом Дела. Истинное политическое служение имеет в виду не отдельные группы и не самостоятельные классы, но весь народ в целом. Политика по существу своему не раскалывает людей и не разжигает их страсти, чтобы бросить их друг на друга; напротив, она объединяет людей на том, что им всем обще. Народная жизнь органична: каждая часть нуждается в остальных и служит им; ни одна часть не может и не смеет подавлять остальные, используя их безответственно. Каждый из

нас заинтересован самым реальным образом в благополучии каждого из своих сограждан; один бедствующий без помощи ставит всех в положение черствых предателей; один нищий есть угроза всем; один заболевший чумою заразит всех; и каждый сумасшедший, каждый запойный пьяница, каждый морфинист есть общая опасность. Поэтому истинная политика утверждает органическую солидарность всех со всеми. И поэтому истинный политический успех доступен только тому, кто живет органическим созерцанием и мышлением.

Такая программа всеобщей органической солидарности ясна далеко не всем, и чем более человек духовно близорук и своекорыстен, тем менее она ему доступна. История знает бесчисленное множество живых примеров того, что массы совсем не желали настоящей политики и соответствующей ей программы, а валили за антиполитическими и противогосударственными предложениями демагогов. В XIX веке такую разрушительную практику, такой политический разврат формулировал и провозгласил Карл Маркс с его классовой партией и программой…

Но мудрые и верные отнюдь не должны соблазняться этим: они должны блюсти свое понимание и свою программу даже тогда, если это грозит им изоляцией и преследованиями. Надо иметь достаточно гражданского мужества, чтобы справиться и с изоляцией, чтобы принять и преследование, иными словами, чтобы примириться со своим личным политическим неуспехом. Надо быть уверенным, что придет иное время, придут иные, отрезвленные и умудренные поколения, которые признают этот кажущийся политический «провал» за истинный политический успех и найдут настоящие верные слова для осуждения политического разврата.

Но если настоящий политик встретит сочувствие у своих современников, тогда он должен повести борьбу и попытаться увлечь на верный путь широкие круги народа. Ибо политика есть искусство объединять людей, – приводит к одному знаменателю многоголовые и разнообразные желания. Здесь дело не в том, чтобы люди «сговорились друг с другом на чем угодно», ибо они могут согласиться и на антиполитической программе и на противогосударственных основах: сговариваются ведь и разбойники, и экспроприаторы, и террористы, и детопокупатели… Нужно политическое единение, политическое и по форме, и по содержанию: лояльное, правовое, свободное по форме и общенародное, справедливое, органическое и зиждущее по содержанию. И в этом состоит задача истинной политики.

Поэтому политика есть волевое искусство – искусство социального воления. Надо организовать и верно выразить единую всенародную волю, и притом так, чтобы это единение не растратило по дороге силу совокупного решения. Ибо история знает множество примеров, где «единение» с виду удавалось, но на самом деле уже не имело за собою реальной волевой силы: попутно делалось так много «нежелательных уступок», заключались направо и налево такие неискренние, лукавые «компромиссы», что люди охладевали и только притворялись «согласными»; на самом же деле никто уже не хотел – ни единения, ни его программы, и когда начиналось строительство, то все рушилось, как карточный дом. Вот почему политика есть искусство совместного и решительного воления: безвольная политика есть недоразумение или предательство, всегда источник разочарования и бедствий.

Отсюда вытекает, что политика нуждается в свободной и необманной (искренней) воле. Истинное единение покоится на добровольном согласии: люди должны объединяться не по принуждению, не из страха, не по лукавству и не для взаимного обмана. Чем меньше интриги в политике, тем она здоровее, глубже и продуктивнее. Комплот обманщиков, провокаторов, диверсантов, словом – людей бесчестных и безответственных никогда не создаст ни здорового государства, ни верной политики. Чем больше в политике конспирации, тем больше в ней лжи и обмана. Чем сильнее влияние таинственной и двусмысленной закулисы, тем больше лжи, предательства и своекорыстия будет в политической атмосфере. Нельзя объединить и согласить всех, это не удастся никогда. Надо объединить лучших, умнейших, способных к ответственному служению, не связанных никакими закулисными «приказами» и «запретами», а это объединение должно позвать за собой разумное большинство общества и народа. И при этом надо всегда помнить, что это «большинство» не способно творить и создавать, созерцать и строить политику: оно способно только отзываться на идею и поддерживать программу. Всегда все значительные и великие реформы вынашивались инициативным меньшинством и им же проводились в жизнь; а большинство только соглашалось, участвовало и подчинялось. Это отнюдь не означает призыва к тоталитарному строю, самому больному, извращенному и унизительному из всех политических режимов. Но это означает призыв – не переоценивать голос массы в политике, ибо масса не живет органическим созерцанием и мышлением, доступным только лучшему меньшинству, которое и призвано осуществлять его и вовлекать в него массу доказыванием и показыванием…

Для того чтобы создать это единение, лучшие люди народа (т. е. именно те, которые хотят и могут служить общей органической солидарности) должны

договориться и согласиться друг с другом, крепко сомкнуть свои ряды и затем приступить к объединению народа. Если лучшие политики страны этого не сделают, то это дело будет вырвано у них противогосударственными антиполитиками. Это значит, что политика требует отбора лучших людей – прозорливых, ответственных, несущих служение, талантливых организаторов, опытных объединителей. Каждое государство призвано к отбору лучших людей. Народ, которому такой отбор не удается, идет навстречу смутам и бедствиям. Поэтому все то, что затрудняет, фальсифицирует или подрывает политически-предметный отбор лучших людей – вредит государству и губит его: всякая властолюбивая конспирация, всякие честолюбиво-партийные интриги, всякая продажность, всякое политическое кумовство, всякая семейная протекция, всякое привлечение государственно-негодных элементов к голосованию, всякое укрывательство, всякое партийное, племенное и исповедное выдвижение негодных элементов… Кто желает истинного политического успеха, тот должен проводить всеми силами предметный отбор лучших людей.

И вот то, что этот отбор может и должен предложить народу, есть осуществимый оптимум в пределах общей органической солидарности. Тут немедленно возникает ряд вопросов: чего искать? какова наша цель? в чем наша всенародная солидарность? как осуществлять эту цель? какие меры необходимы? какие законы должны быть изданы? и возможно ли немедленно отыскать и осуществить «всеобщую справедливость»? В ответе на эти вопросы необходимо всегда находить и предлагать – наилучший исход из осуществимых. Никогда не следует мечтать о максимуме и ставить себе максимальные задачи: из этого никогда ничего не выйдет, кроме обмана, разочарования, ожесточения и демагогии. Нужен не фантастический максимум, а наилучшее из осуществимого (трезвый оптимизм)!

Это означает сразу: политика невозможна без идеала; политика должна быть трезво-реальной. Нельзя без идеала: он должен осмысливать всякое мероприятие, пронизывать своими лучами и облагораживать всякое решение, звать издали, согревать сердца вблизи… Политика не должна брести от случая к случаю, штопать наличные дыры, осуществлять безыдейное и беспринципное торгашество, предаваться легкомысленной близорукости. Истинная политика видит ясно свой «идеал» и всегда сохраняет «идеалистический» характер.

И в то же время она должна быть трезво-реальной. Ее трезвый «оптимум» не должен покоиться на иллюзиях и не смеет превращаться в химеру. Но именно сюда ведет полное невежество массы и слепое доктринерство полуобразованных демагогов; и хуже всего бывает, когда такое доктринерство имеет успех у невежественной толпы и когда ему удается закрепить свою власть системой террора.

Трезвый и умный «оптимум» (наилучшая возможность! наибольшее из осуществимого!) всегда учитывает все реальные возможности данного народа, данный момент времени, наличные душевные, хозяйственные, военные и дипломатические условия. Этот оптимум должен быть исторически обоснованным, почвенным, зорко рассчитанным – реализуемым. Истинная политика – сразу идеалистична и реалистична. Она всегда смотрит вдаль, вперед – на десятилетия или даже на столетия; она не занимается торгашеством по мелочам. И в то же время она всегда ответственна и трезва; и не считается с утопиями и противоестественными химерами. Политика без идеи оказывается мелкой, пошлой и бессильной; она всех утомляет и всем надоедает. Политика химеры есть самообман; она растрачивает силы и разочаровывает народ. Истинная же политика имеет крупные очертания, она значительна и благодетельна; и силы ее возрастают от осуществления; и в то же время она никого не обманывает, но экономит силы и поощряет народное творчество. Ее судит время; и суждение грядущих поколений всегда оправдывает ее.

Для того чтобы осуществить в жизни этот возможный «оптимум», политика нуждается в возможно лучшем государственном устройстве и возможно лучшем замещении правительственных мест.

Государство есть властная организация; но оно есть в то же время еще и организация свободы. Эти два требования, как две координаты, определяют его задачи и его границы. Если не удается организация власти, то все распадается в беспорядке, все разлагается в анархии, – и государство исчезает в хаосе. Но если государство пренебрегает свободой и перестает служить ей, то начинаются судороги принуждения, насилия и террора, – и государство превращается в великую каторжную тюрьму. Верное разрешение задачи состоит в том, чтобы государство почерпало свою силу из свободы и пользовалось своей силой для поддержания свободы. Иными словами, граждане должны видеть в своей свободе духовную силу, беречь ее и возводить свою духовную свободу и силу к государственной власти. Свобода граждан должна быть верным и могучим источником государственной власти.

Власть призвана повелевать и, если нужно, – принуждать, судить и наказывать. В государстве никогда не должна иссякать импонирующая воля; сила его императива должна быть всегда способна настоять на своем и вызвать повиновение. Но это господство должно непременно обеспечивать гражданам свободу, уважать ее и блюсти

ее. Внешняя деятельность государства (устройство порядка, взыскание налогов, законодательство, суд, администрация, организация армии) не есть нечто самостоятельное и не может держаться как чисто внешний процесс, как дело «погонщика». Если вся эта деятельность становится чисто внешним делом (вынуждения, выжимания, проталкивания, приговаривания, наказывания, «окрики» и казни), – чем-то механическим, нажимом и прижимом, взывающим не к сердцу и духу, а к страху и голоду (как в тоталитарных государствах), – то государство рано или поздно терпит крушение и разлагается. Ибо на самом деле государственная жизнь есть выражение внутренних процессов, совершающихся в народной душе, – инстинктивных влечений, мотиваций, волевых решений, импонирования, самовменения, повиновения, дисциплины, уважения и патриотической любви. Государство и политика живут правосознанием народа и почерпают свою силу и свой успех именно в нем. И здесь важно – с одной стороны, правосознание лучших людей, с другой стороны, правосознание массы, ее среднего уровня. Держится правосознание – и государство живет; разлагается, мутится, слабеет правосознание – и государство распадается и гибнет. Правосознание же состоит по существу своему в свободной лояльности.
Вот почему всякая истинная политика призвана к воспитанию и организации национального правосознания. Это воспитание должно совершаться в свободной лояльности (не в запугивающем рабстве!) и приучать граждан к свободной лояльности, т. е. к добровольному блюдению права. Поэтому настоящий и мудрый политик должен заботиться о том, чтобы государственное устройство и состав правительства были приемлемы для национального правосознания и действительно вызывали в нем и сочувствие, и готовность к содействию. Так, если народное правосознание мыслит и чувствует авторитарно, то демократический строй ему просто не удастся. Напротив, правосознание с индивидуалистическим и свободным укладом не вынесет тирании. Нелепо навязывать монархический строй народу, живущему республиканским правосознанием; глупо и гибельно вовлекать народ с монархическим правосознанием в республику, которая ему чужда и неестественна. Государственное устройство и правление суть «функции» внутренней жизни народа, ее выражения, ее проявления, ее порождения: они суть функции его правосознания, т. е. его духовного уклада во всем его исторически возникшем своеобразии.
Всякий истинный политик знает, что государственная власть живет свободным правосознанием граждан; поэтому она должна давать этой свободе простор для здорового дыхания и выражать эту свободу в жизни. А народ призван заполнять свою свободу лояльностью и видеть в правительстве – свое правительство, ограждающее его свободу и творчески поддерживаемое народом. Поэтому истинная государственная власть призвана не только «вязать», но и освобождать; и не только освобождать, но и приучать граждан к добровольному самообязыванию. Власть «вяжет», чтобы обеспечивать людям свободу; она освобождает, чтобы люди учились добровольному подчинению и единению.
Однако государственная власть отнюдь не призвана к тому, чтобы развязывать в народе злые силы. Горе народу, если возникнет такая власть, – все равно, будет ли она освобождать зло по глупости или в силу порочности. Свобода не есть разнуздание злых и право на злые дела. Отрицательные силы должны обуздываться и обезвреживаться; иначе они злоупотребят свободой, скомпрометируют ее и погубят. Зло должно быть связано для того, чтобы добро было свободно и безбоязненно развертывало свои силы. Поэтому истинная политика властно связует и упорядочивает жизнь, чтобы тем освобождать и поощрять лучшие силы народа.
Но и связанные силы зла не должны гибнуть. Истинная политика мудра, осторожна и экономит силы народа. Поэтому ей присуще искусство – щадить отрицательные силы и волевые их заряды и находить для них положительное применение, указуя злому, завистнику, разрушителю, преступнику, разбойнику, бунтовщику и предателю возможность одуматься и приняться за положительный труд…
Такова сущность истинной политики. Таков путь, ведущий к истинному политическому успеху.
Политика есть искусство свободы, воспитание самостоятельно творящего субъекта права. Государство, презирающее свободную человеческую личность, подавляющее ее и исключающее ее – есть тоталитарное государство, учреждение нелепое, противоестественное и преступное; оно заслуживает того, чтобы распасться и погибнуть.
Политика есть искусство права, т. е. умение создавать ясную, жизненную и гибкую правовую норму. Государство, издающее законы темные и непонятные, несправедливые и двусмысленные, нежизненные, педантичные и мертвые – подрывает в народе доверие к праву и лояльность, развязывает произвол и подкупность в правителях и судьях и само подрывает свою прочность.
Политика есть искусство справедливости, т. е. умение вчувствоваться в личное своеобразие людей, умение беречь индивидуального человека. Государство, несущее всем несправедливое уравнение, не умеющее видеть своеобразие (т. е. естественное

неравенство!) живых людей и потому попирающее живую справедливость – накопляет в народе те отрицательные заряды, которые однажды взорвут и погубят его.
Такова сущность истинной политики. Она творится через государственную власть и потому должна держать это орудие в чистоте; государственная власть, став бесчестной, свирепой и жадной – заслуживает свержения и позорной гибели.
Политика дает человеку власть, но не для злоупотребления и не для произвола; грязный человек, злоупотребляющий своею властью и произволяющий – является преступником перед народом. Напротив, истинный политик переживает свое властное полномочие как служение, как обязательство, как бремя и стремится постигнуть и усвоить искусство властвования. И пока его искусство не справилось и не нашло творчески верное разрешение задачи, и пока он сам не освобожден от своего обязательства, он должен нести бремя своего служения, – ответственно и мужественно, – хотя бы дело шло о его личной жизни и смерти. Государственная власть есть не легкая комедия и не маскарад, где снимают маску, когда захочется. Нет, ей присуща трагическая черта; она каждую минуту может превратиться в трагедию, которая захватит и личную жизнь властителя, и общую жизнь народа. Поэтому истинный политик обязан рисковать своею жизнью, подобно солдату в сражении; и именно поэтому люди робкие и трусливые не призваны к политике.
И вот истинный политический успех доступен только тому, кто берется за дело с ответственностью и любовью…
Нет ничего более жалкого, как бессовестный и безответственный политик: это человек, который желает фигурировать, но не желает отдаться целиком своему призванию; который в своей деятельности всегда не на высоте; который не умеет расплачиваться своею земною личностью; который бежит от своей собственной тени. Это трус по призванию, который не может иметь политического успеха.
И нет ничего более опасного и вредного, как политик, лишенный сердца: это человек, который лишен главного органа духовной жизни; который не любит ни своего ближнего, ни своего отечества; – который не знает верности, этого выражения любви, но способен к ежеминутному предательству; который с самого начала уже предает всякое свое начинание; который не имеет ни одного Божьего луча для управляемой им страны; циник по призванию, который может иметь «успех» в личной карьере, но никогда не будет иметь истинного политического успеха. Вокруг его имени может подняться исторический шум, который глупцы и злодеи будут принимать за «славу». Вокруг него могут пролиться потоки крови; от него могут произойти катастрофические бедствия и страдания; но творческих путей он не найдет для своего народа.
История знает таких тиранов; но никаких Неронов, никаких Цезарей Борджиа, никаких Маратов не чествовали так, как их чествуют ныне при жизни и по смерти. Современные люди утратили живое чувство добра и зла; они принимают извращения за достижения, низкую интригу за проявление ума, свирепость за героическую волю, противоестественную утопию за великую мировую «программу». Наши современники забыли драгоценные аксиомы политики, права, власти и государства. Они «отменили» дьявола, чтобы предаться ему и поклониться ему…
И величайший, позорнейший провал мировой истории (русскую революцию) они переживают как величайший политический успех.
Но час недалек и близится отрезвление.

14. ЧТО ЕСТЬ ФИЛОСОФИЯ?

Если русская философия хочет еще сказать что-нибудь значительное, верное и глубокое русскому народу и человечеству вообще, – после всех пережитых блужданий и крушений, – то она должна прежде всего спросить себя, в чем ее призвание, с каким предметом она имеет дело и каков ее верный путь (метод)? Она должна возжелать ясности, честности и жизненности. Она должна стать убедительным и драгоценным исследованием духа и духовности. Если же она не одумается, не перестанет подражать иностранным и в особенности германским образцам и не попытается начать свое русское национальное дело сначала из глубины русского национального духовного опыта, то она скоро окажется мертвым и ненужным грузом в истории русской культуры…
И прежде всего русские философские мыслители должны отказаться от намеренного выдумывания «философских систем». Философ вообще не обязан выдумывать и преподавать какую-то «систему». Это чисто немецкий предрассудок, от которого давно пора освободиться. Эта задача принадлежит к мнимым задачам культуры, и не следует воображать, будто она «сама собой подразумевается»… Одно из двух: или философия есть произведение личной фантазии, развивающее субъективную точку зрения; тогда она не обязана брать на себя задачу создавать законченно-закругленную и внутренно-непротиворечивую «систему»; напротив, каждый получает право фантазировать, следуя своей способности и склонности. Или же философия есть предметно-связанное исследование с предметно-обоснованными выводами, и тогда она совсем не имеет права навязывать себе систематическую

стройность и логическую непротиворечивость; тогда каждый философствующий обязан неуклонно и неутомимо испытывать исследуемый предмет и так описывать, излагать, изображать его, как он есть в действительности. В самом деле, откуда мы могли бы знать с самого начала, что предмет, который мы всю жизнь испытываем и исследуем, – сам по себе систематичен и живет по законам нашей человеческой логики? Кто дал нам право выдавать максимальные требования нашего рассудочного рационализма за законы бытия самого предмета? Откуда эта уверенность, что предмет философии действительно живет и действует так, как мы этого напрасно добиваемся от нашего рационалистического миросозерцания? Возможно и вероятно, что предмет философии разумен, но он может быть разумен такой Разумностью, по сравнению с которой наша обычная «разумность» есть сплошное неразумие… И правда, сущее бытие предмета не обязано повиноваться нашему рассудочному мышлению… Наоборот, помысленная нами «истина» должна сообразоваться с «истинным бытием предмета», а не обратно; а это «истинное бытие» бесконечно глубже, живее, обширнее и богаче, чем выдумываемые нами «системочки». Смешно думать, что шапка захочет определять форму головы по своему размеру… Что за притязательность – предуказывать духовному предмету формы человеческого ума!..

Итак, философ совсем не призван «выдумывать систему». Достаточно, если он сделает все возможное, чтобы предметно созерцать и мыслить. А систематический строй он должен спокойно предоставить самому предмету: если его предмет в самом деле есть «система», то его философия верно передаст и изобразит ее; но если предмет есть бессвязная совокупность, то это обнаружится и в его предметной философии. Исследующий философ не смеет повелевать предмету; он не смеет и искажать его в своем изображении. Философ, воображающий себя «бухгалтером», наводящим порядок, или унтер-офицером, выстраивающим шеренгу понятий, – смешон и жалок. Он не смеет предвосхищать и предопределять тот Божий дар, который дается ему для исследования, будь то «мир», или «природа», или «история», или «дух», или «искусство»… Он не может «указывать» своему предмету; ему не дано «знать заранее», или «знать лучше»; он не призван починять разрывы или несогласованности предмета своими рационалистическими выдумками. Сколько искажений было внесено в философские исследования такими притязательными затеями! Как много произвольных «определений» и пустых «конструкций» возникло из этого!..

Поэтому русские философы, желающие сказать свое верное и веское исследовательское слово, должны отделаться от навязчивой идеи «философской системы». Надо честно, ответственно и предметно исследовать, а не выдумывать и не «конструировать». Надо осуществлять и совершенствовать философский опыт и философское созерцание, а не создавать в дедуктивном порядке выдуманное отвлеченное «здание». В философии действует, как и во всех областях знания, закон исследования: самое легкое, самое непроизводительное и наиболее импонирующее множеству обывателей есть дедукция (выведение системы из общего логического понятия или закона); самое трудное, самое скромное и творчески-значительное, что делает человека настоящим исследователем, есть созерцающая индукция (опытное описание предмета в его единичных обнаружениях). Философ призван переживать свой предмет в его объективной реальности, проверять пережитые им содержания, описывать их и показывать другим людям. При этом он остается исследователем совершенно независимо от того, излагает ли он свои познанные содержания в терминах профессиональной философии со множеством «цитат» и «примечаний» или в простом облачении повседневных слов, не затрудняя читателя импонирующим «подвалом» примечаний, подчеркивающих «богатые познания» мелким шрифтом («петитом»).

Вопрос о том, есть ли философия наука, не стоит разрешать ни в положительном, ни в отрицательном смысле. Если она есть наука, – а она может быть наукой, – то это наука, требующая от человека особого духовно-религиозного опыта и особого описательного художества. Но нам достаточно здесь установить, что философ поступает правильно и умно, если он рассматривает свою работу как исследование и тем самым принимает на себя ответственность исследователя, волю к предметности и бремя доказательства. Пусть он только не заботится о том, что из этого выйдет: «монизм», «дуализм» или «плюрализм», «реализм» или «идеализм», «рационализм» или «интуитивизм»… Об этом впоследствии будут вкривь и вкось судить и объявлять его критики, его историки или составители надгробных речей… хотя будет еще лучше, если они об этом помолчат… ибо дело не в этом, а в предметной верности его исследований. Пусть он только требует от себя исследовательской честности и точности и пусть помнит свою духовную ответственность перед Всевышним и перед своим народом…

Это означает, что есть особый философский опыт и что этот опыт надо понять и усвоить, а затем осуществлять его, укреплять его и культивировать. Что же это за опыт и какими силами человека он осуществляется?

Указать эти силы, значит определить «строение философского акта», т. е. установить, что именно человек должен внутренно делать с данными ему от природы способностями.
Строение философского акта не однородно в разных областях философии; напротив, философский исследователь должен с самого начала примириться с тем, что ему придется применять силы и способности своего существа в разнообразных сочетаниях и приспособлять их с гибкостью и чуткостью – сообразуясь с требованием самого предмета. А предмет философии дается ему в своеобразных и различных обличиях. Философу всюду дается его предмет, где у него есть ощущение, что его касается Божий луч, требующий от него восприятия и познания. «Эвристически», т. е. в деле искания и нахождения, это ощущение должно руководить им, несмотря на то что в дальнейшем испытании и исследовании может оказаться, что это ощущение было лишь иллюзией. Однако оно может быть и совсем не иллюзией, и тогда ему удастся установить, что Божий луч в самом деле дается людям на различных путях и различным способом. Все такие подлинные явления и переживания могут быть обозначены словами «дух» или «духовность». И вот дух «дышит» в природе, в человеке, а также в том, что сам человек создает с Божией помощью. Так, например, начало «духа», – этот сущий предмет философии, – раскрывается нам в цветке, и в горной цепи. Мы переживаем его и в состоянии очевидности, несущей нам созерцаемую истину. Оно овладевает нами в переживании истинной любви и совести. Оно открывается нам в видениях художественного искусства, создаваемого самим человеком. Мы внемлем ему, постигая свою свободу и переживая эоны правосознания и патриотизма. Оно сияет нам из источников религиозного откровения. И каждый раз оно требует от нас опытного акта с другим строением; и мы должны каждый раз осуществлять такой акт с чувством ответственности и с великим тщанием.
Тот, кто желает исследовать познание истины и установить, что есть верное знание предмета, посвящает себя проблеме очевидности и приступает к теории познания; он должен осуществить и накопить обширный и разносторонний опыт очевидности. Человек, никогда не переживавший очевидности, не знающий, как слагается и проверяется это своеобразное переживание и как оно внутренно «выглядит», создаст в теории познания только игру мертвыми понятиями и пустые конструкции. К тому же очевидность дается человеку совсем не в одном теоретическом мышлении. Она переживается в религии иначе, чем в науке; она слагается в искусстве на других путях, чем в нравственной жизни; да и в различных науках акт очевидности имеет различное строение (напр., в логике, в математике, в химии, в астрономии, в истории, в юриспруденции, в филологии). Во всяком случае, вне этого реально пережитого и неутомимо собираемого опыта очевидности теория познания мертва и пуста. Философ, не выносивший духовной культуры и не работавший в качестве исследователя ни в одной науке, а может быть, вообще отрицающий акт очевидности (в качестве скептика, агностика или нигилиста), – неприемлем и невыносим в качестве гносеолога (т. е. теоретика познания), сколько бы тысяч страниц он ни прочел, ни написал и ни напечатал на традиционном, профессиональном жаргоне отвлеченной мысли. Ибо акт очевидности требует от исследователя дара созерцания, и притом многообразного созерцания, способности к вчувствованию, глубокого чувства ответственности, искусства творческого сомнения и вопрошания, упорной воли к окончательному удостоверению и живой любви к предмету.
Итак, философ должен воспитать себя к духовной очевидности.
Подобно этому, тот, кто желает в качестве исследователя обратиться к нравственности, добродетели и добру, должен прежде всего углубить и расширить свой нравственный опыт. Нравственность не может быть ни постигнута, ни изображена в отвлеченных построениях и спекуляциях; здесь дело совсем не сводится к теоретическим соображениям и определениям понятий. «Нравственное» должно быть реально пережито исследователем. Философ, рассуждающий о любви, о радости, о добродетели, о долге, о добре и зле, о силе воли, о свободе воли, о характере и других подобных предметах по чужим книгам или понаслышке, не познает ничего, он только воображает что-то о каких-то духовных «окаменелостях» или «мумиях».
Нравственный опыт требует всего человека: он нуждается в его любви, в его страстях, в его решениях и деяниях. Человек должен отдать этому опыту всю свою личность – свою жизненную силу, свой жизненный успех, свою судьбу. Он должен предстать пред своей совестью; он должен предаться ей и деятельно зажить из нее; осуществляя эти деяния, он должен увидеть перед собой угрозу для жизни, взглянуть в глаза смерти и преодолеть свой страх смерти. Нравственный опыт не дается тому, кто сидит неподвижно в своей комнате, кто предается праздным фантазиям, кто является «дезертиром» своего призвания и своего долга. Кто хочет написать «этику», тот должен иметь за собою живой опыт любви, борьбы и страданий; он должен знать, что значит отчаиваться и в отчаянии молиться, и еще,

что значит иметь жизненный успех и в успехе соблюдать скромность и смирение. Он должен пережить в собственном опыте дивную, сковывающую и освобождающую, укореняющую и очистительную силу совестного акта; он должен знать, что совестный человек рискует всем, идет на смерть и если бывает спасен, то сам изумляется этому больше всех. Только тому, кто переживает это все и другое, связанное с этим, – только ему откроется нравственное измерение вещей и людей, только он поймет «предмет этики».

Итак, философ должен воспитать себя к акту совести.

Согласно этому, исследователь, посвящающий себя философии искусства, должен приобрести в этой сфере обширный и глубокий опыт созерцания. Здесь особенно важно пробиться через чувственно-формальную кору внешнего эстетического явления, открыть себе доступ к органической сопринадлежности зрелых образов искусства и убедиться в том, что субъективный вкус отнюдь не есть последнее слово в оценке произведений искусства. При этом очень важно, чтобы философ сам каким-нибудь способом участвовал в художественном творчестве: его опыт получит совсем иной вид и иное значение, если он попытается самостоятельно пережить процесс «замысла», вынашивания, борьбы за идею предмета, облечения ее в ткань образов и обретения художественной формы, ибо тогда он будет созерцать искусство не только «извне», но и «изнутри». Сноб, рассматривающий искусство формально, никогда не станет философом искусства; холодное наблюдение и погоня за возбуждающим, дразнящим, угодливым, популярным, невиданным никогда не заменит художественного опыта. Искусство есть возвышенное служение человеческому духу и чистая радость Божественному. Поэтому исследование искусства, осуществляемое философом, предполагает долгую аскетическую работу над своим собственным вкусом, который должен быть облагорожен; он предполагает, далее, чуткое религиозное сердце и целую культуру вчувствования и созерцающей мысли.

Итак, философ должен воспитать себя к художественному созерцанию и опыту.

Это приобретает особое значение в области религиозной философии. Здесь исследователь должен выносить настоящий религиозный опыт, живое религиозное созерцание, которое позволит ему вчувствоваться в каждый чужой религиозный опыт, как подлинный, так и мнимый, сопережить его и проверить. Неверующий исследователь, лишенный религиозности, соберет в лучшем случае, наподобие Вильяма Джемса, мертвую коллекцию чужих переживаний. Зато фанатически верующий человек, склонный к религиозной исключительности, нетерпимый и презрительный, поступит правильно, если он ограничится дедуктивным вероисповедным богословием и оставит в покое до неизмеримости обширное поле чужих («ложных») религиозных учений. Ибо исследователь в области философии религии нуждается в особом созерцании чужих (особенно ложных и извращенных) религиозных воззрений: это созерцание должно быть терпимым, способным к вчувствованию, психологически гибким и спокойно-мудрым, ибо только тогда оно откроет ему доступ в те сокровенные глубины, где у людей зарождаются религиозные воззрения, и к тому дивному многообразию, в котором человечество воспринимает и преломляет даруемые ему Божьи лучи. Не может исследовать световые и красочные оттенки человек, не видящий цвета; что он скажет об их необычайном, не имеющем на человеческом языке названий богатстве, если он сам воспринимает только один-единственный цвет, а остальные оттенки отвергает как «ложные»? Сердце Божие больше и шире, чем вероисповедное учение, ибо оно не только терпит иные исповедания, но еще и ведает, что единое-истинное исповедание не всем народам по силам и что скудному духу лучше иметь хоть какое-нибудь Бого-созерцание, чем никакого… Вот почему философия религии требует терпимости, чуткости и сердца.

И, конечно, прежде всего – самостоятельного и подлинного религиозного опыта.

Понятно, наконец, что и философ права должен найти свой особый опыт и предмет и вступить с ним в непосредственное исследовательское общение; а для этого он должен выносить верный опытный акт и систематически осуществлять его. Этот акт можно было бы обозначить как здоровое и нормальное правосознание. Сущность этого акта и его возникновение могут быть описаны так. Каждому человеку присущ инстинкт самосохранения со всеми его страстями и притязаниями, инстинкт неискоренимый и жизненно необходимый. Но притязания его должны иметь свой предел и признавать его. Этот предел ставит им личный дух человека, важнейшая и драгоценная сила человеческой личности, придающая смысл и указующая цель нашей жизни. И вот инстинкт призван не враждовать с духом, а принимать его закон и добровольно подчиняться ему. В зрелом виде душа человека и обнаруживает добровольную законопослушность, или, что то же, «автономную волю к свободной лояльности». Эта воля и есть живая основа правосознания. Таким образом, в жизни свободного правосознания участвуют все силы человеческого существа: творческий инстинкт, любовь и уважение к ближним, любовь к родине, созерцание, испытующее духовные глубины, лояльная воля и формулирующая мысль; все это – в жизненном и жизнеустрояющем сплетении и притом укорененное в духе, который всегда и во всем

требует от человека самого лучшего. Три великие аксиомы лежат в основе здорового правосознания: чувство собственного духовного достоинства, способность свободного человека к самоуправлению и взаимное уважение и доверие людей друг к другу. На этих основах и будет построено правосознание грядущей России.
Ясно, что и философия права невозможна без предметного правового опыта.
Итак, в общем и целом, так же как и во всех своих ответвлениях, философия есть наука, вырастающая из духовного опыта. И первая задача ее состоит в том, чтобы растить и крепить свой опытный акт. Однажды Сократ поставил древнему миру вопрос: изучима ли и определима ли добродетель? Этот вопрос сохраняет и ныне все свое значение, и притом для всей философии. И ответ, который он имел в виду и который он пытался вложить своим слушателям в сердце, имел такое же значение, как и самый вопрос: человек сможет лишь постольку исследовать сущность добродетели, поскольку он сам будет ею жить и ее осуществлять. В этом смысле можно было бы сказать: человек, утверждающийся в духе, является для себя мерою всех духовных «вещей». Иными словами, философ, желающий успешно исследовать свой предмет, должен реально-опытно переживать его и тем самым осуществлять его. Иначе он не может и не смеет: он должен превратить свою душу и свою жизнь в о́рган своего предметного опыта. Только ставши сам орудием духа, он сможет испытать и познать сущность духа. А это означает, что профессиональный философ обязуется постоянно и неутомимо работать над очищением своей души (катарсис). Он должен вести всежизненную борьбу за достижение своего предмета, или, иными словами, он должен воспитать себя к тому, чтобы предмет стал ему доступен.
Так, он должен очищать и укреплять свою очевидность, проверять и удостоверять ее; он должен усвоить аскез силы суждения; он должен изощрить свое созерцание и придать ему точность; он должен овладеть своими страстями; придать своему восприятию гибкость, приспособимость и многообразие; он должен стремиться к законченности и добиваться окончательного.
Далее, он должен укреплять свой совестный акт и удостоверяться в его верности и силе, доверять ему, очищать свою душу ради него и предаваться ему. Он должен действовать в жизни по совести и из совести, в его лучах воспитать в себе духовный характер.
Он должен воспитывать и очищать свое эстетическое созерцание и свой художественный вкус. В каждом произведении искусства он должен научиться искать и находить его сокровенно-явленный смысл. Он должен приучать себя блюсти аскез своего эстетического суждения и до тех пор упражняться в художественном отождествлении с лучшими произведениями искусства, пока искусство не станет для него «языком богов» или, лучше сказать, Божиим иероглифом.
В религии он должен научиться созерцанию и молитве. Молитва даст ему духовное укоренение, а оно научит его отвергать и опровергать все аналитические, скептические, нигилистические и издевательские аргументы безбожия. Он должен пережить в своем сердце действие Божьего огня и приобрести на всю жизнь некий раскаленный угль веры. Этот угль раскроет перед ним живую сущность религии и подарит ему живой орган для понимания всех религий мира.
Наконец, он должен растить, крепить, очищать и углублять свое правосознание. Он должен поставить его в луч Божий и отыскать его последние, благороднейшие и чистые источники; а религиозность заставит его подчинить все это воле к совершенству. Он должен ввести свое правосознание в непосредственную жизнь, действовать из него, громко исповедовать его природу, вести за него борьбу и научиться толковать его интуиции и осуществлять его требования. Он должен отдать себя в его распоряжение и стать его верным орудием.
Таков настоящий путь (или «метод») философа. На этом пути обновится и расцветет будущая русская философия, и тогда она перестанет праздно умствовать и предаваться соблазнительным конструкциям. Основное правило этого пути гласит так: сначала – быть, потом – действовать и лишь затем из осуществленного бытия и из ответственного, а может быть, и опасного, и даже мучительного делания – философствовать.
ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ
15. О СВОБОДЕ
Современный человек не верит ни во что и сомневается во всем – сомнением безразличным и бесплодным; и потому все, чего коснется его сомнение, теряет для него свою ценность. Так, он сомневается и в свободе; и вследствие этого он предает ее и лишается ее.
Но мы не сомневаемся в свободе и знаем достоверно и точно, почему она нам необходима: без нее нет путей к достойной жизни, к духу и к Богу.
Пока человек пользуется свободой, он мало думает о ней. Он дышит, живет и наслаждается ею; он непосредственно плывет в ее легком потоке. Свобода подобна воздуху: человек дышит воздухом, не думая о нем. Воздух как будто бы сам вдыхается и сам покидает нас, все время вливаясь и изливаясь. Мы вспоминаем о

нем обычно лишь тогда, когда его не хватает, когда он становится тяжел или смраден, – когда человек начинает задыхаться. Тогда мы вспоминаем, иногда с мгновенно охватывающим нас ужасом, что без воздуха нельзя жить, что мы забыли о нем и не дорожили им, что он безусловно необходим, что начинается гибель…
Так обстоит и со свободой. Человек не может жить без нее; она, безусловно, необходима ему подобно воздуху… Почему?
Потому что человек может любить – только свободно. Ибо настоящая любовь – искренна и цельна, невынужденна и нелицемерна; она свободно возникает и свободно дышит… или же она не возникает совсем, и заменить ее тогда нечем… Кто любил, тот знает это по собственному опыту. И потому можно с уверенностью сказать, что человек, презирающий чужую свободу и подавляющий ее, не знает, что такое любовь: у него черствое и мертвое сердце.
Только свободно можно веровать и молиться. Ибо настоящая, живая вера всегда захватывает самую последнюю глубину души, куда не проникают никакие чужие повеления и запреты, где человек самостоятельно созерцает, видит, любит и верует: где он свободен. Если же этого нет, то вера его неискренна и называть ее верою совсем не следует. Молитва верующего подобна глубокому вздоху, или пению сердца, или священному пламени: она вздыхает, поет и горит сама, и предписать ее невозможно… Поэтому надо признать, что человек, подавляющий свободу веры и молитвы, – кто бы он ни был сам: безбожник или «религиозный» фанатик, – не ведает сам ни молитвы, ни веры; в нем «нет Бога», и ждать от него добра – дело безнадежное.
Подобно этому – мыслить и исследовать человек может только свободно, потому что настоящее мышление самостоятельно и всякое подлинно научное исследование самодеятельно; оно не терпит навязанного авторитета и не может двигаться по предписанию и запрету. Навязанный образ мысли убивает мышление, так что от него остается только словесная видимость. «Слепое исследование» есть живое противоречие, научная невозможность. Именно поэтому человек мысли признает за другими право на глупость и на заблуждение: ибо он бережет свободу как необходимое и драгоценное жилище, в котором потом однажды поселится умная истина. Напротив, кто насаждает рабски-подражательный трафарет, тот не понимает природу мысли; он далек и от истины и от ума.
Для того чтобы человек пережил очевидность и приобрел убеждение – ему необходима свобода; только свободное убеждение имеет духовную силу и жизненный вес; только оно захватывает последнюю глубину личности; только оно формирует характер человека; только оно может быть верным даже до смерти… Кто этого не разумеет, кто считает возможным навязывать людям убеждения, тот никогда не переживал очевидности и не шел дальше слепой одержимости.
Всякое творчество человека требует свободы: добровольного самовложения, созерцающей инициативы, личного почина, любви и вдохновения. Творчество возникает из внутреннего, нестесненного, таинственного побуждения, в котором участвует сам индивидуальный инстинкт и которым руководит сам личный дух. Эта личная инициатива драгоценна во всех сферах культуры – в искусстве и в хозяйстве, в науке и в политике, в воспитании и во всякой жизненной борьбе. Всякое человеческое творчество возникает из лишений и из страдания, и всякое создание культуры есть преодоленное и оформленное страдание человека. Для того чтобы это преодоление состоялось, человек должен сам принять свое страдание, сам искать выхода, сам созерцать, молиться, очищать и просветлять свое сердце. Никто не может заменить его в этом: и помощь извне может прийти только в виде совета, а не в виде предписания и запрещения. Нет творчества без свободы. И тот, кто не понимает этого, тот никогда ничего не творил и не испытывал вдохновения.
Только свободно может человек пережить акт совести: раскрыть свое сердце, внять совестному зову, принять его волею и осуществить его поступком. Этот драгоценный акт не может быть ни запрещен, ни предписан. Он сразу – духовен и органически целен, таинственно глубок и инициативно-самодеятелен. Нарушить его свободу значит попытаться лишить человека совести, а к этому способны только бессовестные люди…
Но любовь, вера и молитва, мышление и исследование, очевидность и духовный характер, творческое вдохновение и акт совести – разве это не важнейшее в жизни человека, разве не в этом смысл его земной жизни? Разве не этим творится культура? Конечно, именно этим!
Но тогда жизнь человека без свободы – бессмысленна или невозможна. Так это и есть на самом деле. Все духовное и великое возникает в жизни таинственным образом из себя самого и через самого себя; таинственно загорается в существах пламя жизни, вложенное Богом; свободно разгорается оно, стремясь ввысь, к Богу. Так воспламеняется любовь; так человек молится; так творится искусство; так строится наука; так преодолеваются духовные кризисы; так крепнет духовный характер человека; так совершаются героические поступки…

Это необходимо понять, в этом необходимо удостовериться раз навсегда: предписанное мышление есть мнимое мышление, есть симуляция мысли, безответственное пустословие. Вынужденная любовь есть несостоявшаяся любовь. Навязанная молитва, произносимая без участия свободного сердца, есть жалкая видимость молитвы, лицемерие, пытающееся обмануть людей и Бога. Лишенный свободы, человек духовно мертвеет и только осуществляет предписанную ему пошлость: он ведет жизнь раздвоенную, бессильную и неискреннюю; ему нельзя доверять, на него нельзя полагаться; он живет обманом и самообманом; и всю жизнь стоит накануне предательства. Или же, – в лучшем случае, – его здоровый инстинкт и его живой дух покидают сферу внешнего лицемерия и уходят в душевную глубину, создавая себе там катакомбную жизнь, где он блюдет свои свободные побуждения и следует голосу свободного вдохновения…
Так обстоит во всей человеческой жизни, не только в духовной культуре, но и в хозяйстве. Только свободный труд не унижает человека, и именно поэтому он продуктивен и созидателен; только невынужденное, добровольное, радостное прилежание может быть признано инстинктивно-здоровым и духовно-верным делом. Принуждение ни в чем не может заменить свободного интереса и творчества. Все подобные попытки – безнадежны, где бы они ни возникали и какие бы цели они ни преследовали.
И кто этого не знает и не понимает, тот однажды убедится в этом на собственном, вероятно мучительном, опыте; ибо всякое уклонение от законов духа и природы наказуется страданием.
Две великие опасности грозят человеческой свободе: во-первых, недооценка свободы, ведущая к легкомысленному отречению от нее; и, во-вторых, злоупотребление свободой, ведущее к разочарованию в ней и утрате ее.
Это может случиться с каждым человеком и с каждым народом, что он недооценит здоровую и благословенную свободу или же впадет в преувеличение и необузданность и злоупотребит ею. Тогда он потеряет ее. В этом еще нет позора; но это есть великая ошибка, которая ведет к беде, а может привести и к позору. Тогда начинается добровольное или недобровольное порабощение, которое может длиться долго и привести к сущей, – личной или всенародной, – трагедии; тогда придется пройти суровый путь – страдания, терпения, научения и освобождения.
Тот, кто теряет свободу вследствие легкомысленной недооценки ее, сначала, может быть, не заметит своей утраты и своего лишения; но потом начнутся унижения и лишения и ему придется страдать до тех пор, пока он не осознает, чего он лишился, и не встоскуется по свободе. Однако вернуть потерянную свободу нелегко; необходима борьба за нее; надо понять смысл полученного жизненного урока, понять неизбежность борьбы и подготовиться к ней. Избавление придет только тогда, когда порабощенный почувствует, что ему свобода дороже жизни; когда он поймет, что свободу надо ценить как воздух и что злоупотреблять ею нельзя. Тогда под гнетом принуждения вспыхнет подлинная жажда свободы; инстинктивная потребность и духовная воля соединятся для этой борьбы, и в человеке созреет способность не только добиться свободы, но закрепить ее в достойных формах, для верного жизненного наполнения…
Свобода не просто «даруется» сверху; она должна быть принята, взята и верно осуществлена снизу. Дарованная сверху, она может стать «напрасным даром»: внизу ее недооценят, неверно истолкуют и употребят во зло. Человек должен понять ее природу: ее правовую форму, ее правовые пределы, ее взаимность и совместность, ее цель и назначение; мало того, он должен созреть до того, чтобы верно осознать ее нравственные и духовные основы. Если этого не будет, то он превратит свободу в произвол, в «войну всех против всех» и в хаос. И трагедия ее утраты начнется сначала.
Свобода есть духовный воздух для человека; но для недуховного человека она может стать соблазном и опасностью. Культура без свободы есть мнимая культура, праздная видимость ее; но некультурный человек обычно воспринимает ее как «право на разнуздание» или как призыв к произволу. Народы медленно созревают к истинной свободе. И история человечества подобна бесконечному круговороту порабощения, страдания, терпения и освобождения.
А мы, наблюдая этот трагический круговорот, не сомневаемся в свободе, ибо мы верно и точно понимаем ее духовный смысл.

16. О ДОБРОТЕ

Чтобы оценить доброту и постигнуть ее культурное значение, надо непременно самому испытать ее: надо воспринять луч чужой доброты и пожить в нем и надо почувствовать, как луч моей доброты овладевает сердцем, словом и делами моей жизни и обновляет ее. Но, может быть, еще поучительнее испытать чужую недоброту в ее предельном выражении – вражды, злобы, ненависти и презрения, испытать ее длительно, всесторонне, как систему жизни, как безнадежную, пожизненную атмосферу бытия. Это-то, по-видимому, и дано человечеству двадцатого века в

отрезвление, умудрение и обновление… Великое счастье – испытать чужую подлинную доброту, поверить ей, довериться ей и не обмануться… Она всегда приходит «незаслуженно», «сверхсметно»; иногда на зов, иногда без зова; не по обязанности, не в силу долга, но как дар, дающийся по собственному почину, без возврата, без ответного дара и возмещения: «ни за что ни про что»… И тогда она невольно вызывает в душе вопрос: неужели вправду? неужели это возможно? неужели есть в мире и такая стихия? и если есть, то почему же мы все не участвуем в ней и не наслаждаемся ею? Ведь это – совсем иная, совсем новая жизнь, настоящая, радостная, светлая; и после нее, без нее – все кажется сумеречным, печальным, ошибочным, жестким и едва выносимым… Чужая доброта – это сразу зов, и обещание, и исполнение обещанного; предчувствие чего-то большего, чему даже не сразу верится; теплота, от которой сердце согревается и приходит в ответное движение: ибо в нем сразу просыпаются – смущение, и благодарность, и любовь, и новая очевидность, удостоверяющая нас в мирообъемлющей стихии Евангельского обетования…

Человек, раз испытавший это, не может не ответить (рано или поздно, уверенно или неуверенно) своею добротою, своим лучом, как бы «посылаемым» в мир, «участвующим» и «связующим». И ответ этот изойдет из него тем раньше, тем увереннее и тем плодотворнее, чем меньше он будет в плену у каменеющего ожесточения и у ложного стыда.

Это есть великое счастье – почувствовать в своем сердце огонь доброты и дать ему волю в жизни. В этот миг, в эти часы человек находит в себе свое «лучшее», пение своего сердца, преображение своего инстинкта; раскрывается его последняя глубина, преодолевается его одиночество, расширяется объем его самочувствия до пределов живущего и страдающего мира. Забывается «я» и «свое»; исчезает «чужое», ибо оно становится «моим» и «мною». И для вражды и ненависти не остается места в душе.

Жизнь человечества, утратившего доброту, была бы подобна страшному, нескончаемому сновидению. Вот как эта жизнь предносилась великому греческому мыслителю Анаксимандру.

В неизмеримом мировом пространстве идет жестокая борьба; и конца ей не видно. Из «Беспредельного» – предвечного и таинственного лона всех вещей – непрестанно выделяются все новые единичные существа; и каждое из них желает себе всего, стремится ко всему и добивается единой и исключительной власти. Ранее, когда каждое из этих существ «почивало», растворенное в Беспредельном, когда ни одного из них «о себе» не было, они все пребывали в единстве и, не выделенные из Единого-Беспредельного, были «всем и во всем». Но потом каждое из них, просыпаясь к самостоятельной жизни (вступая в «процесс индивидуации»), выделялось и становилось отдельным существом «о себе», единичным и ограниченным, а первоначальное блаженное состояние в Беспредельном утрачивалось. Но возможно ли забыть раз испытанное блаженство? Возможно ли не желать его возвращения и восстановления?.. И вот каждое из них желает этого утраченного блаженства, добивается его – само по себе и для себя, не понимая, что оно доступно только Богу и достижимо только в Боге… Отсюда – эта всеобщая, безнадежная борьба. Каждое из этих существ утверждает себя в своей единичности и ограниченности и в то же время посягает на «все» и требует себе «всего». И все мешают всем. И каждый видит вокруг себя одних врагов. И потому все предаются соперничеству и зависти; все претендуют, нападают, суетятся и кипят во вражде; все куда-то стремятся, раздраженные, озлобленные, ненавидят друг друга и радуются чужой неудаче. Никто не хочет воздержаться и уступить; каждый желает завладеть всем и «поглотить» все; и ни один не понимает, что именно его притязание на все исключает других, отвергает их и делает его собственную цель неосуществимою. Борьба ожесточается потому, что все борются за невозможное; и чем упорнее борьба, тем невозможнее достижение. И каждый буйствует до тех пор, пока не истощатся его силы, пока он не погибнет, так и не поняв своей трагической ошибки. Погибая же, он теряет свое индивидуальное обличие, перестает быть единичным и ограниченным и растворяется в Лоне Беспредельного. Только после этого все они могут обрести в Боге полноту бытия и утраченное блаженство… А в это время из общего Лона всех вещей выделяются все новые и новые существа и начинают ту же отчаянную и безысходную борьбу…

В истории человечества бывают такие периоды, когда это мрачное ви́дение кажется верным отображением действительного мира и человеческой судьбы: эта безнадежная борьба частей ради завладения целым, это неутолимое посягательство, эта жажда власти и объема, эта упорная всеобщая вражда, эта обреченность слепоты… И тогда мы начинаем искать исхода и спасения. И верное решение проблемы не в «роковом возмездии», провозглашенном у Анаксимандра, и не в «добровольном самоугашении», проповеданном Буддою, но в любовной доброте, завещанной нам Христом Сыном Божиим.

Индивидуальное обличие дается нам не слепым роком и возникает не по нашему произволению; а возмездие за творимую неправду, сколь бы ни казалось оно «справедливым» – не осмысливает трагедию и не дает ей творческого разрешения. Что же касается добровольного ухода в Нирвану, в ее безгрешное и чистое блаженство, предносившееся Будде, то этот уход явился бы отказом от возложенного на нас жизненного бремени, от борьбы за мир и от живой любви. Даруемое нам индивидуальное обличие есть духовная миссия, а не «недоразумение», которое мы имеем право погасить; оно таит в себе некий высший смысл и творческое задание, и мы не вправе уклониться от него и искать спасения в бегстве…

Напротив, это бремя надо принять и понести. Человек должен изжить свое индивидуальное обличие в достойном и прекрасном осуществлении. А это дается только любовной доброте.

Человек христианской доброты не может и не хочет участвовать в этой посягающей борьбе всех против всех. Все это завистливое состязание, вся эта ненавистная суета, вся эта жадность и злоба – невыносимы для него: он не «требует всего», он не видит в людях врагов и соперников, у него нет для этого ни алчности, ни самомнения, и он отходит от этого хаоса с огорчением и болью, может быть даже с отвращением… У него нет ни способности, ни потребности жить вечным отрицанием, угрожать во всех направлениях, нападать на других, лишать их всего и толкать их в погибель; или, по слову Леонардо да Винчи, «жить на счет гибели других». Ненависть угасает от живой доброты; зависть совсем и не зарождается; жажда мести не возникает. Любовь не способна наслаждаться ни коварством, ни интригой, ни насилием; она не произволяет, не посягает и не сутяжничает. Доброта ищет мира и добивается его искренним «благоволением»; а при виде всеобщей мировой вражды и свары она испытывает только горе.

Не зная, как помочь этому бедствию, этой слепоте и жадности, доброта отвертывается от них и прислушивается к новому порядку вещей. Она помнит утраченное блаженное единство в Боге и мечтает о нем как о Царстве Божием на земле. Оно предносится ей – то в виде незримой духовной ткани, сокровенно объединяющей вселенную; то в виде осуществленного на земле «вечного мира»; то в виде мировой «симфонии», поющей осанну вместе с Шиллером и Бетховеном; то в образе звездного неба, блюдущего в тишине свое дивное равновесие. Благостное сердце живет предчувствием, подобным воспоминанию, или воспоминанием, подобным пророческому обетованию: предвечное блаженство не утрачено навек, оно живет в нас в виде прозревающей надежды, ибо великое всеединство мира и людей угодно Господу, оно задано нам всем к осуществлению, и мы призваны помышлять о нем и трудиться над ним – всю жизнь, вопреки всем трудностям и видимостям.

Из этого завета и предчувствия исходит христианская доброта. Она видит и множество, и смятение, и непримиримость, и раны, и разрывы, и пропасти – и ищет для них целения. А черствость и злоба, напротив, живут этими разрывами, бередят эти раны и предаются этой непримиримости. Злые люди пребывают в ожесточении и слепоте и ничего не знают о препорученной человеку сокровенной ткани Царства Божия…

Когда мы смотрим в глаза истинно доброму человеку, мы видим струящийся из них благостный свет, приемлющий, сочувствующий и согревающий. В них нет подозрительности и суда, нет жесткости и отталкивания. В них участливый вопрос о нашем жизненном бремени и страдании. Мы видим не острый, пронзительный луч допрашивающей и требовательной души, но ласковое сияние как бы из окна родного дома. Это трогает и утешает, примиряет, успокаивает и облегчает. И мы с изумлением спрашиваем себя, как это возможно, что далекое сразу кажется близким, а чужое – родным? Как возможна любовь к незнаемому человеку? Как может столь необычайное и маловероятное осуществиться воочию?

Сердце, живущее добротою, излучает в мир через свой ласковый взор творческое и неисчерпаемое «да». Ибо доброта есть как бы открытая дверь, вечное гостеприимство, братский прием. Чувствилище доброй души открыто миру; оно готово как бы выйти из себя и уйти в другого. Добрый человек – брат всей твари. Он как бы помнит первоначальное всеобщее единство, совместное происхождение из единого всеблагого источника, от всеблагого и всемогущего Господа: он как бы чувствует в себе жизнь и обращение всеединой крови мира, вопреки тому, что «естество человеческое», по слову Василия Великого, является «расторгнутым и на тысячи частей рассеченным»… Дверь, ведущая в дом его души, открыта: она ведет в тот великий Отчий Дом, где «много обителей» (Ин 14:2); по-видимому, мы все пребывали в этом Лоне до совершения времен; и это Лоно обещает нам по совершении времен – избавление, приют и покой. И вот живая доброта излучает свет этого всеединого Лона, свет любви, приятия, благожелательства и духовного родства. Она уже осуществляет всеобщее воссоединение. А мы, озаренные и согретые этим светом, изумляемся, за что нам дается это утешение? Ибо мы смутно чувствуем, что мы ничем не могли «заслужить» эту доброту и эту любовь…

Такая сердечная доброта человека есть излучающаяся благость Самого Создателя, верно воспринятая и передаваемая в мир. А Божия Благодать не ищет заслуг, но изливает себя «на праведных и неправедных» (Мф 5:45). И когда Божия Благодать льется через человеческое сердце, светит и согревает, тогда невыносимый раздор в человечестве начинает стихать, и ненависть опоминается, и зависть стыдится, и посягание приходит в смущение. Ибо доброта несет людям благую весть о воссоединении. Она есть дыхание утраченного блаженства. Ей дано, как солнцу, растапливать льды и, как огню, плавить камни…

Все это означает, что истинно доброе сердце живет в ткани Божией и чует свою сокровенную связь с остальным человечеством. Оно не отъединяется от этой ткани, не посягает и не враждует. Оно вчувствуется в жизнь другого, в жизнь каждого, отзывается и готово помогать. Такой человек смотрит в мир доброжелательно, ласково, сострадательно. И самый взор его есть уже благодеяние для ожесточенных; и слова его звучат как призыв вернуться на родину. И каждое существо, вступающее в поле его зрения, вызывает в нем луч благоволения, зажигает в нем огонь Божией доброты и дарит ему радость. Вот почему преподобный Серафим Саровский говорил каждому человеку: «радость моя!!»… И эти простые, но таинственные слова из райских селений были сразу излиянием личного сердца и евангельским зовом в Лоно Отца. Ибо человек человеку во Христе – не волк и не враг, а свет и радость… Доброта есть целебный бальзам на раны мира, болеутоляющее лекарство для душевных разрывов и духовных ран. Она живет мечтой и созерцанием в блаженном первобытии, в предвечном лоне всех вещей; она как бы пророчествует о грядущем воссоединении в Боге; и бережет в земной жизни священную ткань благоволения, мира и всеединства…

Какая же культура возможна без доброты? Культура есть единый дух у многих душ; единая общая ткань у особливых, разъединенных людей; и возникает она в творческом общении одиноких созерцателей. Как же можно создать ее без доброты?..

17. О СМИРЕНИИ

Иногда у нас возникает сомнение, можно ли в самом деле требовать смирения от всех людей? Где взять его повседневному человеку, с головой ушедшему в борьбу за существование, с ее заботами, страхами и интригами? Разве смирение не есть добродетель избранных, прошедших путь религиозного очищения? Может быть… Но именно поэтому мы радуемся, когда замечаем в ком-нибудь искру неподдельного смирения; и у нас тотчас же слагается уверенность, что судьба послала нам жизненную встречу с превосходным человеком.

У смирения есть особое свойство – повышать духовную ценность человека.

Если мы видим перед собой какого-нибудь прославленного деятеля (в науке, в искусстве или политике) и замечаем в его манере держаться самомнение, тщеславие или гордость, – то мы начинаем охладевать к нему, наша симпатия гаснет и ценность его умаляется в наших глазах. Это происходит не только потому, что его самопревознесение как бы принижает нас самих и что мы чувствуем себя явно пренебреженными или далее сопричисленными к «ничтожествам». Это было бы понятно: ибо это означало бы, что у нас самих не хватает смирения и что поэтому его апломб кажется нам «невыносимым». Но гораздо важнее то обстоятельство, что его заносчивость умаляет его дух и снижает его ценность.

Это так и есть на самом деле.

Истинному величию причитается простота, доброта, легкость и скромность. И чем более у даровитого человека этих прекрасных и чарующих свойств, тем искреннее обращаются к нему сердца. Это естественно: в глубине души у всех нас живет убеждение, что «победитель» жизненных трудностей и предметов должен был прежде всего победить самого себя… А скромность и выражает эту победу.

Зато тот, кто считает себя «перлом создания», кто воображает, что осуществил «высшее» и что его творчество «совершенно», – тот обнаруживает свою близорукость и ограниченность. И чем горделивее он держится, чем больше его притязание и чем навязчивее он его предъявляет, чем более он доволен собою и чем менее он смотрит вверх и вперед, тем сильнее наше разочарование: мы теряем уважение к нему, он уже не импонирует нам, и у нас делается такое чувство, как если бы мы натолкнулись в нем на маленького и глупого человека, который заслонил нам в нем самом умного, большого и значительного… Какое огорчение!

Напротив, от истинной скромности идет некое духовное благоухание; в ней есть что-то трогательное и пленительное. Может быть, скромный человек не достигнет так скоро «признания» и «славы», как самоуверенный человек, выступающий с апломбом, или как назойливый хвастун, над которым люди посмеиваются и все же поддаются его саморекламе: смотрят на его «фейерверк», знают, какая ему цена, и все-таки незаметно начинают считать его «выдающимся» человеком. Однако фейерверк скоро сгорает, и после него остаются только обугленные деревяшки, сажа и зола, и тут-то лучи скромного человека, с их тихим, но подлинным светом, начинают обращать на себя общее внимание.

Можно было бы сказать: выдающийся, но заносчивый человек обнаруживает свои пределы и снижает свой рост; небольшой человек с истинным смирением – причастен духовному величию. Гордость разочаровывает и обесценивает. Смирение пробуждает любовь, увеличивает ценность человека и возносит его духовно. Будь непритязателен и терпелив; примирись с тем, что ты пройдешь в жизни незамеченным; предоставь другим блестеть и красоваться. Твое время придет тогда, когда начнется настоящее, не личное, а предметное. Может быть, это будет после твоей земной смерти, когда наступит время «жатвы» и когда каждое зернышко будет бережно собрано и твое зерно будет с любовью принято. Может быть… И вот с этим надо примириться. Надо выносить в себе потребность и волю – быть, а не казаться; и уверенность, что «зерно бытия» больше, чем призрачное величие; и еще крепкую заботу о том, чтобы действительно вступить в сферу подлинного бытия, сущего перед лицом Божиим. А остальное не существенно…

Тщеславие всегда злоупотребляет пространством человеческого общения для того, чтобы добиться в нем «успеха», «влияния» и «славы», всей этой лестной видимости, – и не думает о том, что «успех» есть почти всегда успех у толпы, а у толпы мало духа и еще меньше вкуса. А «влияние»… Как часто оно состоит в том, что «влияющий» прислуживается к людям, гнется во все стороны, чтобы угодить своим влияемым, и кончает тем, что сам оказывается безличным орудием чужих интересов. А «слава» прельщает только тех, кто никогда не заглядывал за ее кулисы и не догадался еще, что она составляет нередко монополию профессиональных «славоделателей». Вот почему человек, приобщившийся истинному смирению, встречает каждый свой успех желанием проверить – не покривил ли он в чем-нибудь душой для угождения толпе; и на всякое свое «влияние», как только оно обнаруживается, – он отвечает повышением чувства ответственности и юмором: юмором – чтобы не впасть в тщеславие и не поверить лести; чувством ответственности – ибо ему необходима уверенность, что он вложил в свои дела свое лучшее. А «славу» свою он встречает с тревогою, – ибо незаслуженная слава есть ложь, а заслуженная слава должна быть еще проверена смертью прославившегося… Ибо человеческий приговор – суетен; а Божий приговор произносится лишь по смерти.

Итак, тщеславие борется за призрачное, и смирение вводит в царство реальности. Тщеславный человек совершает три ошибки: во-первых, он принимает самого себя за нечто очень «важное» в жизни; во-вторых, ему кажется, что он чрезвычайно «многого» достиг и очень многое совершил; и, в-третьих, ему хочется, чтобы эти великие «достижения» и «свершения» были повсеместно признаны и превознесены. Преодоление тщеславия должно начаться с постижения третьей ошибки.

Надо принять во внимание, что сила суждения и компетентность, необходимые для истинного «признания», присущи лишь очень немногим людям; что на свете есть слепое и бестолковое признание, легкомысленное и безответственное восхваление, поддельный и своекорыстный восторг, продажная критика и оплаченный успех. Надо понять, что в современном обществе есть множество тайных союзов, – религиозных и национальных, политических партий, полуполитических клубов, и даже эротических союзов, – члены которых при всяких обстоятельствах поддерживают друг друга; восхваляют и выдвигают «своих» и замалчивают или поносят «чужих». Надо отдать себе отчет в том, что масса следует моде и рекламе, партийным внушениям, закулисным нашептам и очень часто верит наемной «клаке», которую в Италии называют «негодяями в желтых перчатках» («ladri in guanti gialli»). Как много людей, восхваляющих модное – по расчету, из страха перед общественным мнением или по тщеславию и снобизму. И как смутно делается на душе, когда слышишь похвалу из уст безвкусного пошляка, или нигилиста, или заведомого лжеца и злодея: и стыдно, и тревожно, и грустно! Сознание, что мой труд одобрен нечестивцем, что я угодил духовному слепцу или глупцу, что известные плуты восхищаются моим созданием на всех перекрестках, может вызвать в душе настоящее удручение… И тот, кто сообразит и продумает все это, скоро поймет, что только признание зрелого судьи, мудрого созерцателя и чистосердечного критика может быть желанным и радостным. А такие люди будут хвалить меня только тогда, когда я сам буду чувствовать, что меня оправдывает моя собственная совесть и что меня укрепляет Божий луч. Вот почему Пушкин был прав, когда советовал поэту не дорожить успехом у толпы и судить себя самого высшим и строгим судом…

Надо рассмотреть «людскую славу», понять ее шаткое и фальшивое естество – и разлюбить ее. Это значит победить тщеславие внешней «популярности». А для этого надо утвердить в самом себе высокий и строгий критерий совести и религиозное чувство ответственности, чтобы затем сказать самому себе: «что́ мне людская хвала и людское поношение, когда мне светит луч Божий?»

Тогда можно приступить к преодолению второй ошибки тщеславия. А именно, человек должен приучиться к невысокой оценке того, чего он достиг и что он совершил. Если он силен, то пусть не считает себя сильным; если он умен, то он не должен причислять себя к «самоумнейшим» людям; если он порядочный человек, то пусть он

не переоценивает свою добродетель; если он даровит, то пусть познáет меру своего таланта и не воображает, будто он «велик» и «гениален». Почему? И зачем это нужно?

Тот, кто «достиг» и «совершил», тот «успокаивается», погружается в самодовольство и прекращает поиски и борьбу. Кто знает «достаточно», тот прекращает изучение и исследование, не углубляет свой дух, останавливается в своем развитии, начинает повторяться и теряет свои богатства. Всеведущий «знаток» дошел до своего предела и начинает отставать. Он забыл главное, именно что Божий Предмет – беспределен во всех отношениях и смыслах и что человек есть лишь скромный ученик этого Предмета. Кто достиг «совершенства», для того уже не может быть правил и запретов, и завтра он разрешит себе все. «Безошибочный» не увидит ни своих слабостей, ни своих ошибок. Высокоумный человек и не подозревает того, что завтра появится сверхумный, который поставит его в положение глупца и повергнет его в смущение и растерянность. А талантливый художник, который вообразит себя гениальным мастером, – быстро прекратит свою внутреннюю работу, снизит свою требовательность, утратит драгоценное и воспитывающее недовольство собою и сам не заметит, как создаст завтра ничтожное творение, над которым все будут подсмеиваться исподтишка.

Вот почему каждый, кто создаст что-нибудь, не должен подолгу предаваться радостям достижения, но скорее сосредоточиться на недостатках своего создания: он должен повышать свои требования, отыскивать свои промахи, неумения и несовершенства, судить свое творение мерой полной и великой и замышлять лучшее. Надо всегда смотреть вдаль – подобно человеку на башне; надо всегда думать о том, чего мне еще духовно не хватает, – подобно скупцу, собирающему богатство; надо постоянно чинить и крепить свои стены, – подобно осажденному полководцу. Надо жить не гордостью от совершенного и достигнутого, но смирением при мысли о неудавшемся и еще предстоящем в будущем.

Кто знает пределы своего знания и своих знающих сил, тот останется вечным студентом и станет истинным исследователем. Кто научится видеть свои духовные пределы и болеть о них, тот будет всю жизнь расти. Кто сознает свои слабости и недостатки, тот будет бороться с ними, побеждать их и совершенствоваться. Для лечения необходим верный диагноз, тогда как незамеченные болезни запускаются и становятся хроническими. Словом, настоящий человек вырабатывает особую культуру своих несовершенств, стараясь не преуменьшать их и не преувеличивать. Это и есть источник истинной скромности, начало самосовершенствования, секрет духовного роста и развития. Тот, кто смотрит вдаль и ввысь, тот увидит Божественное, которого он лишен и о котором он воздыхает; и когда он затем обращается к совершенному и достигнутому, – он стои́т смущенный и пристыженный: «Господи, сколь я бессилен и немощен!»… Он всегда чувствует, что ему не хватает Главного; что до истинной высоты ему далеко, как до звезды небесной; что все его наличное достояние есть только начало, только зов и обетование; что гордиться ему нечем и что все у него еще впереди. Надо приучить себя к той «нищете духом», о которой сказано в Евангелии; и найти в себе мужество бедняка, скромность вопрошающего и бодрость ученика.

Тогда остается еще третий шаг: надо переложить центр тяжести в своей жизни и борьбе с себя самого, со своей особы – на предметную стихию бытия, на то, что можно было бы обозначить словами «ткань Божия в мире». Пока человек не имеет жизненной цели и пока он служит только себе самому и своему жизненному «успеху», до тех пор скромность будет казаться ему чем-то странным и ненужным, может быть, даже – вредным, а до смирения он не дойдет никогда: желая выдвинуться, он будет предаваться хвастливости, заносчивости и тщеславию и будет думать про себя, что скромность подобает нищим, а смирение – лицемерам. А между тем скромность начинается там, где человек чует над собою нечто Высшее, а смирение возникает в тот миг, когда человек преклоняется перед этим Высшим. Человеку необходимо иметь в жизни нечто такое, что он ценит и любит, чему он служит как своей главной цели: ей должен быть посвящен его труд, ради нее он сосредоточивает свои силы, за нее он борется, ей он жертвует собою и всем остальным. И тот, кому дано это счастье служения и горения, скоро начинает замечать, что ему все удается тем легче и тем лучше, чем меньше он думает о себе и чем цельнее он отдается предметной стихии своего служения. Нельзя считать себя и свой личный успех важнейшим делом жизни. Надо научиться выходить на Божий простор из жесткой скорлупы своего себялюбия; надо сердцем и волей преодолеть свое одиночество, свой наивный эгоцентризм. Скудна и душна жизнь человека, не знающего ничего о сверхличных богатствах богозданного мира. И только тот, кто узнает счастье предметной жизни и вложится в Божию ткань мира, только тот почует в себе силы Ильи Муромца, дарованные ему его высокими пришельцами: Божие дело – станет его личным делом, невозможное сделается для него возможным, а за плечами у него вырастут крылья настоящего вдохновения.

Божие дело требует от нас цельного и беззаветного служения; а мы пребываем в тщете личных дел и растрачиваем на них любовь, силы, и время, и всю жизнь; подобно чеховскому торговцу, подсчитываем наши воображаемые «убытки» и мнимые неудачи… Нам все кажется, что жизнь обделила нас, что нам еще что-то «причитается», что наши «справедливые притязания» не удовлетворены и что все у нас в долгу. Человек, предающийся таким настроениям, всю жизнь, подобно раненому животному, зализывает свою незаживающую рану; но в действительности – рана эта мнимая, и сто́ит только не думать о ней, чтобы она начала заживать. Такие душевные раны исцеляются только забвением, живой любовью к людям и служением Богу. Человек, неспособный обновить направление и центр своей жизни, остается в плену собственной пошлости, обливая слезами свое непоправимое прошлое и свое горькое настоящее.

Служение Божьему Делу требует от нас преданности и стойкости; и надо предаться ему. Надо отождествить свой личный успех – с его успехом и подчинить свою судьбу – его развитию и росту. Любовь и воля человека должна получить свое содержание и свою цель от этого великого «горного хребта» человеческой истории и таким образом – предметно обновиться. Может показаться, что в этом самоотверженном служении человек действительно отказывается от себя и теряет себя; однако на самом деле он впервые обретает самого себя в великой и священной ткани Божией. Он теряет свое человеческое, «слишком человеческое», грешно-страстное естество; но зато находит себя – духовноподлинного, «предметно наполненного», смиренного и достойного слугу Божьего Дела на земле.

Именно в этом смирении он впервые находит и утверждает свое истинное духовное достоинство; не уважение других людей, не «почести» и не «славу», не довольство собой, но главное и основное, человечески-духовное достоинство, дающееся тому, кто утвердится и укоренится в Божественном. Там, где водворяется это достоинство, там не бывает гордости. Ибо гордость не от Бога; а достоинство от Бога и ведет к Богу. Гордость не знает о смирении; именно поэтому ей предстоят многие и жестокие унижения… А настоящее достоинство родится из смирения и не может быть унижено; и если кто-нибудь пытается унизить его, то он только возвеличивает его и поднимает его на высоту. Смирение ведет к Богу. Достоинство пребывает в Боге. Поэтому Марк Отшельник был прав, советуя «не почитать себя за нечто великое», но беречь свою «нищету духа»;[10] и Ефрем Сирин был мудр, говоря: «Превозношение ослепляет умные очи, а смирение просвещает их любовью…»[11]

И вот оказывается, что смирение все-таки подобает каждому из нас: и гражданину, и ученому, и художнику, и воину, и пастырю. Каждый может и должен приобщиться ему: найти свое духовное достоинство, вложиться в служение Божьему Делу, полюбить великое и возжелать непреходящего. И если бы кто-нибудь спросил, как легче всего и скорее всего возжечь в себе чувство смирения, то ответ был бы таков: не сравнивать свое «превосходство» с «ничтожеством» других людей, но чаще, как можно чаще приводить свою «малость» пред лицо Божьего величия, как бы «вычитая» себя из Его совершенства и созерцая обнаруживающуюся «разность»… От этого в сердце вселяется, как бы само собою, сущее смирение; и оказывается, что мои «долги» так велики, что я не успеваю и добраться до чужих «долгов»; начинается щедрое «прощение» другим и строгое взыскание с себя самого. Тогда честолюбие смутится и смолкнет и человек поймет, что важно не то, какой «пост» он занимает в жизни, но то, что и как он творит на этом «посту». Ибо в жизни и в мире надо не фигурировать и не величаться, а трудиться над всеединой и вечной «тканью» Царствия Божия, а в этом служении бывают тихие и незаметные свершения, но не бывает «ничтожных» дел и «унизительных» заданий…

Если бы только люди поняли это и захотели вступить на этот путь!

18. ПОТЕРЯННАЯ ТАЙНА

В ранней юности человек есть существо вопрошающее и любопытное, ребенок видит многое, а понимает мало, и все спрашивает и расспрашивает, и получает ответы, которые его не удовлетворяют. И скоро у него возникает ощущение, будто взрослые скрывают от него какие-то тайны, секретничают, уклоняются от прямых ответов и не хотят говорить о самой сущности вещей и дел: «все не то, все не так, все скрывают»… И вот ребенок начинает чувствовать себя разочарованным и даже обиженным: «Что они думают, я так глуп, что поверю их глупым ответам? Ну хорошо, я постараюсь дойти до всего сам»…

И вот начинается наблюдение и подглядывание, подслушивание и размышление, изобретение своих «объяснений» и «теорий», которые должны «разъяснить» все до конца. Ребенок живет во внутреннем беспокойстве, но прикрывает его деланным безразличием, а за всем этим в нем скрывается жадное внимание, пристальная наблюдательность и беспокойный, исследовательский дух. Нельзя примириться с «секретами»; они должны быть разгаданы. Нельзя остановиться перед запретной тайной; надо ее разоблачить. Тайна это вроде обмана: умные дурачат глупых; но

глупые не мирятся и хотят стать тоже умными. Тайна означает, что взрослые хотят держать нас, детей, в состоянии незнания и зависимости; и все – чтобы нами командовать. Потому что «в действительности» все просто, легко и доступно.
Вот почему в детских разговорах так часто слышится словечко «о-очень просто!». И произносится это словечко насмешливо, самоуверенно и даже авторитетно. Поэтому и педагогическое наблюдение оказывается верным: чем таинственнее держатся родители, чем меньше они удовлетворяют детей в их любопытстве, тем больше дети усваивают себе плоское мышление, стремящееся все разоблачить, упростить и опошлить. И потому следовало бы не устранять детей от тайны, не «секретничать» и не запрещать им проникновение в глубь вещей, но постепенно, осторожно вводить их в тайну естественного бытия, любовно и благоговейно посвящая их в мудрость вселенной (конечно, не столь грубо и пошло, как это предлагает Жан Жак Руссо!): смотри, созерцай, постигай, изумляйся и преклоняйся в благоговении…
В восемнадцатом веке западное человечество запротестовало против подобного «унижения», заболело острым чувством мнимой «обиды» и захотело все упростить и как можно проще объяснить. Эта обида и это глупое тяготение передались и девятнадцатому веку и вдруг вспыхнули злобой, завистью и ненавистью в немыслящих массах двадцатого века. При этом понятно, что католическая церковь с ее многовековыми запретами и кровавым террором инквизиции олицетворяла собою «родительский облик», монополизирующий власть для поддержания «тайны» и блюдущий «тайну» ради закрепления своей власти: это она не разрешала «детям» свободу исследования (вспомним Галилея, Ванини, давнишний спор об «антиподах» и т. д.); это она пыталась сберечь для «экзотерического ведения» великой тайны Божия существа и Божьего мира. И вот «дети» пережили эпоху Возрождения и эпоху Просвещения, выросли умственно и созрели волею и предались овладевшему ими «духу противоречия». Подавляющий церковный авторитет был отвергнут, и началось повсюду самостоятельное наблюдение, любопытная погоня за явлениями и неутомимое следопытство.
Эта противоположность между церковной опекой и автономным мышлением постепенно укрепилась и вызвала сначала скрытую, а потом и явную враждебность; вражда не нашла себе ни примирения, ни исцеления; напротив, она даже обострилась во второй половине девятнадцатого и в первой половине двадцатого века, когда рядом с трезвой и разумной наукой выступила заносчивая и скудоумная полунаука, когда темная масса вообразила себя «просвещенной» и в мире разлилось плоское и пошлое полуобразование.
В восемнадцатом веке это течение сформировалось под влиянием французских энциклопедистов. Возникло новое умонастроение, которое предавалось религиозно-беспредметному скепсису, стало постепенно руководящим и ведущим, захватило и государей на троне (Фридрих II Прусский, Екатерина II) и победоносно вступило в девятнадцатый век. Было высказано и «принято», что церковь строится врагами просвещения и распространяет обскурантизм; что религия, строго говоря, беспочвенна; что всякая вера «напрасна» и есть «всуе-верие»; что Евангелие содержит лишь «миф» о Христе; что всякое чудо есть обман, подлежащий разоблачению и обличению; что есть только единственный источник достоверного знания – чувственный опыт… Что же касается так называемых «тайн», то их вообще нет – ни в природе, ни в человеке: на самом деле все просто и ясно; стоит только взяться за наблюдение и размышление, и каждый увидит, что все явления возникают естественно, закономерно и что все заранее определено законом причинной необходимости. Мир совсем не таинствен и не глубок; он сплошь детерминирован, трезв и прозаичен; для объяснения его совсем не нужна «гипотеза» Божьего бытия… Механически и нисколько не духовно совершается его ход, ибо он просто катится по рельсам причинности. И тот, кто пытается усмотреть в нем еще какую-то романтику, фантастику, мистику или иную беспочвенную сентиментальность, – есть мракобес, «vir obscurus»,[12] реакционер, вредитель, а может быть, и сущий плут.
Как из этого умонастроения – из этого плоского сенсуализма и пошлого материализма – возникло современное воинствующее безбожие, понятно без дальнейших разъяснений: сто́ит только заострить основные тезисы этого мировоззрения, выговорить их с волевым темпераментом и сделать все последовательные, особенно практические выводы…
Надо признать, что великие научные исследователи отнюдь не впадали в это умонастроение. Но поскольку они практически принимали гипотезу механического объяснения и применяли ее, они часто не замечали, как эта, в известных пределах продуктивная, но достаточно плоская и отнюдь не исчерпывающая гипотеза разрасталась в самодовлеющее, якобы «все-объясняющее» и «единственно научное» миросозерцание. Отсюда возникала так называемая «традиция позитивизма», согласно которой настоящий и строгий исследователь обязан устранять всякую «мистику», сводить всякое явление к его простейшим элементам и причинам, не дивиться на чудеса мироздания, разлагать все таинственное, лишать его всякого священного

ореола и объяснять все строгими и общими законами, разочаровывая и отрезвляя наивных людей.
Это и была традиция «обиженных» и «униженных» умов, ребяческой уязвленности и детской потребности представить себе все в простом и плоском виде. Это была традиция борьбы и вражды против всего, что кажется таинственным: посягание – все «разгадать», разоблачить и свести к рассудочным схемам. Это давало «наслаждение» от «удачного» всеупрощения и всеопошления. И в последнем счете – это было восстание против библейско-церковного сведения всего к Господу Богу как «источнику всяческих». И более того, это было прикровенное восстание против Бога; жажда низвергнуть Его с трона и занять Его место.
Но если отвлечься от этой традиции и обратиться к великим и гениальным исследователям природы, то надо признать, что они умели созерцать тайны мироздания и дивиться им искренно и глубоко. Можно было бы сказать: большой исследователь приступает к своему исследованию с чувством, что он противостоит некой великой тайне, и заканчивает свой труд с убеждением, что он не овладел тайной мира и не исчерпал ее. Всякое серьезно-глубокое научное объяснение ведет нас в глубину мира, но на один шаг; никакое объяснение не исчерпывает эту глубину, ни одно из них не «отменяет» ее. Ибо эта таинственная глубина не есть нечто воображенное нами, не есть выдуманное нами содержание сознания, но есть предметно-сущее обстояние.
Каждый из нас должен однажды конкретно представить себе этот великий объективно-сущий предмет, мироздание в его непомерно тотальных размерах и в его неизмеримой внутренно-микроскопической глубине; это мироздание, которое то развертывает перед нами свои бесконечно великие дали и расстояния, отнюдь не давая доступа к ним, то указует нам на свои бесконечно малые разветвления, отнюдь не давая их «в руки»; это мироздание, в котором все, – великое и малое, недостижимо-далекое и неуловимо-глубокое, – связано друг с другом, сплетено в сплошную ткань, и несется из прошлого через настоящее в будущее в качестве динамического и целесообразного Единства… Каждый из нас должен оживить и расширить свое предметное созерцание в попытке представить себе этот предмет и затем вообразить себе чудо этого «самопроизвольно-активного» равновесия, из которого говорит некая молчаливая разумность и неизъяснимая сила; чудо, перед которым благоговейно преклонялись и Аристотель, и Коперник, и Лейбниц, и Василий Великий, и Кеплер, и Леонардо да Винчи, и Бойль, и Ломоносов… И тот, кто хоть раз в жизни коснется этого своим духом, тот навсегда уяснит себе, что здесь дело идет не о каком-то субъективном секретосочинительстве и тайноукрывательстве и не о праздной самомистификации, но о величественной и прекрасной мировой тайне, которую открыто признавали и исповедовали все отцы христианской Церкви, начиная с апостола Павла, и все основоположники современного естествознания, кончая Фехнером и Дю-Буа-Реймоном.
В наших исследованиях мы выделяем из этой сверхсложной и таинственно-связной ткани отдельные «обломки», «обрывки» или нити; и поэтому мы должны помнить, что таких выделенных и теоретически препарированных частей в реальном предмете нет. Это мы сами умственно «извлекаем» или «отвлекаем» эти обломки, обрывки или нити, чтобы исследовать их в изолированном виде; и, прибегая к этому приему вследствие ограниченности нашего опыта и вследствие слабости нашей мысли, мы должны разуметь и помнить, что имеем дело с нашими научными «препаратами», или умственными «построениями», не более. Практически эти человеческие «элабораты» являются неизбежными и пригодными; и это нас ослепляет: возвращаясь из наших научных лабораторий к созерцанию предмета (мироздания), мы все снова забываем включить необходимую «поправку» на упущенное нами – на динамическую связанность вселенной, на таинственное единство мира, на сверхсложность и взаимное воздействие всех этих «обломков», «обрывков» и «нитей». Мы забываем, что в действительном мире этот единичный «фрагмент» стоит в многообразном и уводящем вдаль взаимовлиянии с другими «фрагментами» и что эта отдельная естественно-закономерная нить включена в необозримую ткань других, по-своему закономерных нитей. А если нам удается, сверх того, практически использовать некоторые из этих нитей с эффектными последствиями, то мы готовы принять себя за властных «хозяев» вселенной и начинаем воображать, что мы действительно раскрыли все тайны мира и овладели ими. А на самом деле мы стоим перед мирозданием как хвастливые нищие, которые, держа в руке грош, воображают себя богачами, или как наивные дети, которые собираются исчерпать море игрушечным ведром…
На этом пути мы теряем доступ к тайне мироздания; наша наука беднеет, наш ум становится близоруким, наши исследования становятся плоскими и пошлыми. Но само собой разумеется, что на величественном строении мироздания это никак не отзывается. Ибо мир остается, как и прежде – великим и таинственным чудом, возникшим из творчества некой разумно-сокровенной Власти, несомым некой целесообразно-сокровенной силой, движущимся к некой отдаленно-сокровенной цели.

А если кто-нибудь настолько слеп или ограничен, что он не может принять и созерцать это воображением, или если кто-нибудь усвоил себе такую рассудочно-мертвую установку, что он не желает постигнуть и признать это, – то ему будет очень трудно помочь.

Всю свою жизнь человек проводит на земле, окруженный Божьими дарами, таинственными чудесами природы, души и духа. Уже самая жизнь, как она проявляется в самоподдержании одноклеточных существ и как она далее развивается до самых тонких и сложных душевно-телесных коррелатов человеческого существа, есть тайна творческой активности, научно неразложимое и ни к какому механизму не сводимое обстояние. Всюду, где жизнь самоутверждается и развивается, будь то в пространственном движении или в психическом проявлении – от бактерии или вируса до слона, от гриба до лианы, от губки и жемчужной раковины до акулы, от прелестной бабочки типа Неоптолема до невыносимо уродливой китайской свиньи, – всюду перед нами таинственное чудо, сокровенно присущее каждому живому существу. На этом мы должны научиться созерцать и наблюдать и не живые существа в их таинственном строении и распадении, в их таинственном покое и движении. Мир «прост» только для глупцов; но для глупцов не существует и вообще никаких разумных законов.

Вот почему в основании всякого серьезного исследования лежит исходное допущение, что в мире нет ничего «простого», что наука во всех вещах и существах имеет перед собою сверхсложный и всесторонне обусловленный предмет, сокровенно-глубокий и неисчерпаемый ни чувственным опытом, ни рассудком. Наука видит себя везде перед лицом тайны. Это исходное допущение совсем не должно внушить исследователю робость, остановить или пресечь его работу; оно приемлется не для того, чтобы погасить исследовательскую жажду, превратив ее в сплошное пассивное удивление или изумление, или погрузить человека в растерянное слабоумие. Напротив, это допущение, как живая основа исследования, должно открыть человеку его истинное задание, а также укрепить и повысить его чувство ответственности.

Кто призна́ет тайну мироздания, тот в качестве исследователя верно поймет предстоящую ему задачу; а именно, он научится последовательно различать между самим предметом и наблюдаемым (и описываемым) содержанием опыта. А это различие является основным и определяющим во всяком исследовании.

Так, человеку не надо наблюдать и объяснять мироздание в его предметном обстоянии, в его целокупном и таинственном существе. Исследователь вынужден интенционально (т. е. силою своего сосредоточенного разумения) «вырезать» свой, подлежащий исследованию, опытный «участок», свое изучаемое и познаваемое содержание; ему приходится «аскетически» довольствоваться одним «отрывком» или одною «нитью» и сосредоточиваться на таком урезанном, оскудевшем содержании. Согласно этому историк, например, выделяет из всеединого и величавого мирового процесса одну ограниченную эпоху или один единичный «облик» этой эпохи (фигуру императора Карла Пятого, или жизнь Леонардо да Винчи, или эпоху Возрождения, или русскую Смуту); юрист изучает кодекс Юстиниана или французскую конституцию 1791 года; энтомолог пишет трактат о цейлонской белой бабочке типа Hestia Jasonia или об одной из групп «прыгающих прямокрылых» (саранча); физиолог – о функциях тригеминального нерва; экономист – о строении и формах английского кооперативного движения в девятнадцатом веке; филолог – о предлогах «κατά» и «περί» у греческого оратора Лисия и т. д. То, что исследователь выделяет и описывает, на самом деле включено и вращено в великий процесс всеединого и таинственного мироздания. Только интенциональное внимание исследователя «вырезает», «отвлекает», «изолирует» изучаемое содержание, причем иногда природа милостиво дает ему соответствующий образцовый экземпляр (в виде бабочки, или белого павлина, или орловского рысака), а иногда ему приходится самому изготовлять себе необходимый «препарат» (в анатомии, физиологии, гистологии). Но в общем исследователь всегда имеет дело с содержанием своего опыта, которое он должен всегда мысленно включать в цельную картину мироздания, созерцая этот великий предмет и относя к нему все доселе познанное. Поэтому не следует именовать этот опытно выделенный «отрывок» или «обломок» предметом: это и неточно и ведет к заблуждениям. Необходимо признать, что «опыт» есть целесообразное средство в познании, но отнюдь не его цель, не его последнее слово и не высшая инстанция, к которой взывает исследователь. Исследование невозможно без опыта и помимо опыта. Но наивно и слепо думать, что оно заканчивается данными опыта…

И вот исследование слагается совсем иначе в зависимости от того, созерцает исследователь свое «отрывочное содержание» в луче мировой тайны, в великом контексте Предмета или нет.

Если исследователь забывает великую тайну целокупного мироздания, если он принимает свое отрывочное, выделенное содержание за первоначальную и

самодовлеющую величину, тогда он теряет таинственную глубину и в предмете, и в опытном содержании. Он изолирует свой «обломок» от духа Целого и делает его плоским и мертвым. Тогда и чувство ответственности у самого исследователя становится неустойчивым и бессильным, а его наблюдение, несомое коротким, отрывочным дыханием, делается рассудочным, легковесным и плоским. Он не стремится к разрешению великого задания, а «крохоборствует»; он не созерцает, а подглядывает; он «парцеллирует» мироздание и оказывается неспособным участвовать в величии миропознания. Этим он как бы запирает ту дверь, которая ведет от его «опытного отрывка» в глубину самого Предмета; он как бы обрывает нити, связующие его «обломок» с Предметом, а его исследовательскую лабораторию с творением Господа Бога. Такой исследователь должен быть причислен к самодовольным и скороготовым «всеобъяснителям». Можно было бы сказать, что его жажда познания быстро утоляется первым же глотком воды из местной лужи. У него «маленькие глаза» и слабое зрение наподобие крота. Он пытается измерить бездну Божьего творения сантиметрами. Он думает, что мироздание столь же скудно и плоско, как его собственное «представление», и что великий Предмет кончается там, где его собственное умственное содержание оказывается исчерпанным. Он считает каждую свою «гипотезу» за «достаточную», потому что природа не может простираться далее и глубже, чем его субъективные предположения. Итак, он начинает с того, что теряет тайну мироздания, и заканчивает мертвой механической картиной мира, которая приводит его ко всеопошляющему безбожию.

Совсем иначе слагается исследование у того, кто умеет ощущать божественную тайну мира и преклоняться перед ней. Так вел свои исследования уже Аристотель, у которого всякое познание начиналось с «изумления» и возникало из «дивования». Это исследовательское изумление было предвосхищающим восприятием тайны мироздания и в то же время живым предчувствием Божества. Оно всегда пробуждает в душе ученого ту своеобразную исследовательскую совесть, без которой наука просто вырождается или совсем не удается. Эту исследовательскую совесть можно было бы обозначить как волю к предметности познания или как повышенное и обостренное чувство ответственности, как постоянную готовность проявить величайшую осторожность, приспособление и вчувствование, чтобы приблизиться к созерцанию великой и глубокой тайны мироздания. Если исследователю удастся предвосхитить эту тайну в «большом мире» (в макрокосме), то он сумеет восчувствовать ее и в своем «малом обломке» (в микрокосме); и тогда его, неизбежное для всякого исследователя, «упрощение» не будет иметь дурного влияния на его познание. Напротив, выделенный обломок мира станет для исследователя как бы «представителем» мировой тайны, Божьим иероглифом, или как бы входной дверью в познаваемую предметную глубину бытия.

Так начинается всякое настоящее исследование: с аскеза – в ограничении и с волею к безграничному углублению. И тогда каждое выделенное и упрощенное содержание опыта предстает ученому как своего рода «шахта», подлежащая разработке, как подземный ключ или как кладезь, в который надо спуститься для того, чтобы узреть священный центр мировой тайны. При этом каждая найденная нить связуется с сокровенной, но непотерянной тайной мироздания; каждый исследуемый «отрывок» мировой ткани является как бы живою тенью Бога или отблеском Его света; а самая наука – позитивная, эмпирическая, доказывающая наука – оказывается своего рода введением в созерцание Божественного Существа.

Именно так понимали это великие основатели и подвижники современного естествознания; именно это было не понято и упущено малыми умами и духовно подслеповатыми наблюдателями. Но в будущем это возродится и оживет. Тогда наука опять превратится из мертвого гербариума в живой сад Божий и никакая рассудочная доктрина не отпугнет ее от преклонения перед чудом и тайною, сотворенными Господом. А исследующее мышление вернет себе свою созерцающую силу и осуществит необычайное.

Потерянная тайна мироздания будет опять возвращена человеку для переживания и творческого созерцания. Но это станет возможным только тогда, когда обновится строение познавательного акта. Тайна никогда не станет доступною для простого чувственного наблюдения. Она не будет усмотрена и аналитическим рассудком с его экспериментирующим и препарирующим мышлением. Предметная тайна мироздания доступна для созерцающего вчувствования и может сообщиться наблюдению и анализирующему рассудку только через вчувствование. Именно таков был в общем и целом акт великих исследователей. Они подходили к миру с открытым, любящим и дивующимся сердцем; они наблюдали, созерцая и медитируя; они думали, вчувствуясь в предмет и преклоняясь перед его мудрой таинственностью; они с самого начала ведали о его глубине и до конца радостно удостоверялись в ней. Их сердце трепетало вместе с мирозданием и пребывало в нем. И потому мир жил в них и раскрывал перед ними свои глубины; а они сами были не только исследователями мира, но и мудрецами и любимцами природы.

И вот будущее сулит нам возрождение такого познания.

19. О СЕРДЕЧНОМ СОЗЕРЦАНИИ

I

Человек рожден прежде всего – для созерцания: оно возносит его дух и делает его окрыленным человеком; если он сумеет верно пользоваться этими крыльями, то он сможет осуществить свое призвание на земле. И вот, надо пожелать человечеству, чтобы оно уразумело свое призвание и чтобы оно восстановило в себе эту дивную окрыляющую способность созерцания.

Но это означает, что человечество должно приступить к великому, перестраивающему обновлению души и духа: оно должно пересмотреть строение своих культурно-творящих актов, признать их исторически сложившуюся несостоятельность, восполнить их, усовершенствовать и открыть себе новые пути ко всем великим Богоданным предметам. Это – единственная возможность выйти из современного кризиса и начать духовное оздоровление; это единственный способ остановить современное скольжение в пропасть и начать период возрождения и подъема.

Человечество подошло к пропасти, не замечая ее, воображая, что оно творит «новую культуру» и осуществляет великий прогресс «свободы» и «гуманности»; а на самом деле оно создавало бескрылую, декадентскую псевдокультуру, подрывающую свободу и отрекающуюся от гуманности. Оно не заметило главного, а именно: омертвения своего сердца и своей духовности и обессиления своего творческого акта.

Оно пыталось создавать «новую культуру», не применяя необходимых для нее внутренних, духовных «органов» и предоставляя им угасать и отмирать. Оно пользовалось неверными, бессильными «орудиями» внутреннего мира и не замечало, что истинная культура требует иных сил и иных органов, и забывало, что никакое самовосхваление и самодовольство не обеспечивает истинного качества.

Эти формулы имеют общее и определяющее значение для всей культуры наших дней. И дальнейшая история, ныне закрытая непроглядным туманом, зависит от того, увидит ли человечество это заблуждение и когда именно оно увидит его; постигнут ли его наши дети, или дети наших детей, или еще более отдаленные потомки и, постигнув, захотят ли они и сумеют ли начать это творческое обновление.

На развалинах мира, который еще недавно казался «новым», а ныне стал «отжившим», мы все – европейцы, азиаты, американцы – должны одуматься, сосредоточиться на нашем внутреннем душевно-духовном укладе, произнести над собою честный и искренний суд и распространить это самоосуждение на все области культурного творчества. То, что совершается в мире за последние полвека, есть крушение нашей культуры, которая не справляется с внутренно глубокими, а внешне грандиозными задачами наших дней. Крушение это выражается, во-первых, в том, что она предоставила в своих собственных недрах сложиться, окрепнуть и победоносно выступить новому духовному варварству; во-вторых, в том, что она сумела противопоставить этому духовному варварству только формальную цивилизацию, чувственное разложение и хозяйственную жадность. Нам нельзя отвертываться от этого печального зрелища и замалчивать его; напротив, мы обязаны поставить честный диагноз, выговорить правду и приступить к отысканию новых жизненных путей…

…Почему современная философия ушла в отвлеченную пустоту, в бесплодную запутанность, в конструктивные выдумки и в мертвый «гносеологизм»? Чего не хватало ей? Почему отлетел от нее живой дух? Почему дедуктивная теология со всей ее «диалектикой» и религиозной мертвостью расцвела именно теперь, одновременно с воинственно-кощунственным безбожием, к которому она обнаруживает странную и страшную симпатию? Почему эта теология несет одни педантические рассуждения, лишенные света, тепла и живого творчества? Откуда это разложение в современном искусстве, эта духовная беспредметность, ведущая к бесформенности, эта кощунственная игра без души и без художественного измерения? Откуда в музыке эта безóбразная «политональность» и вызывающая «атональность», эта погоня за назойливой и безвкусной «звучностью», это отвращение к прекрасному и глубокому? Откуда в живописи этот культ самодовлеющей красочности, это презрение к естественному, эта жажда хаоса? Откуда в поэзии это сочетание блеклости с пустозвонством? Откуда в беллетристике эта погоня за непристойностью? Чего хотят люди от искусства? В какую низину и пошлость соскользнут еще так называемые «художники»? Откуда этот исторически не слыханный кризис государственности, с его революционными брожениями и тоталитарными извращениями? Не свидетельствует ли он о прямом разложении современного правосознания, предавшегося релятивизму и отвлеченно-мертвому формализму? Как это могло случиться, что последние естественнонаучные открытия и технические изобретения (радио, воздухоплавание, газоведение, расщепление атома) были немедленно использованы для тоталитарного рабства и бесчеловечнейших войн истории? Почему современное человечество так неистово в разрушении (атомная бомба) и так убого и неумело в создании новой социальной жизни? Что же, демократии последнего века так долго и так успешно

боролись за свободу, за частную инициативу и за самоуправление для того, чтобы разнуздать освобожденных и отдать их в новое, неслыханное рабство? Где же новые, творческие, социальные идеи современности, где синтез свободы и справедливости?..

Можно не продолжать этот ряд обличительных вопросов. Наши поколения уже видели и на живом опыте убедились, куда ведет и приводит это разложение культуры. Теперь надо решить: как остановить этот процесс и где искать спасения?

Здесь может помочь только критический пересмотр и обновление структуры нашего, унаследованного нами, культуро-творческого акта. В строении этого акта у нас не хватает самой глубокой и благородной способности человеческого существа – сердечного созерцания и всего того, что с ним связано, всех его духовных сил, даров и проявлений. И вот, человечество должно вернуть себе эту компоненту: понять ее значение и назначение, возжелать ее и дострадаться до ее возрождения. Мы не представляем себе этого процесса как произвольного решения и быстрой перемены. Это процесс длительный, органически-духовный, требующий от людей творческих усилий и ведущий их через страдания. Но в отдельных представителях человечества он может и должен начаться теперь же. Надо побороть в себе ложный стыд, мешающий нам любить и созерцать из любви, надо почувствовать всю оплодотворяющую силу этого акта; надо будить его в детях и завещать новое воспитание внукам и правнукам; надо внести этот оживший дар во всю человеческую культуру – от религиозной веры до архитектуры, от научной лаборатории до концертного зала, от судебного присутствия до земледельческого труда, от законодательного собрания до народной школы и армии. Надо доверить все свое творчество и всю свою судьбу этой благодатной, евангельски-христианской силе сердечного созерцания, издревле жившей в восточном Православии…

II

Условимся различать в человеке следующие душевные силы или «способности»: восприятия, возникающие из чувственных ощущений; мышление; инстинкт; волю; силу воображения; и жизнь чувства. Из этих способностей культуротворящий акт современности покоится на чувственных восприятиях, признавая их как бы «дверью», ведущею к внешнему миру; а над ними ставится в качестве критического стража – индуктивное мышление, по возможности с механически-инструментальной проверкой; отсюда возникает естествознание и техника. То, что добывается этими двумя способностями, передается затем инстинкту и воле; инстинкт созидает из этого хозяйство, а воля – государственный строй. При этом приходится неизбежно пользоваться и силой воображения; совсем без нее нельзя обойтись; но она всегда остается под подозрением, под именем «фантазия» и подвергается строгому контролю мысли и машины. Что же касается чувства, то оно вообще устраняется из серьезной, научно признанной и деловитой культуры; ему отводится место – в зависимости от личных потребностей – в частной жизни. В деловом обороте чувству нечего делать; в культурном творчестве оно только отвлекает и вносит сентиментально-личный элемент; что же касается частной жизни, то людям предоставляется предаваться или не предаваться своим чувствам по мере досуга, склонностей и инстинктивных влечений: для этого у них есть семья…

Что же дают нам и чего не дают основные, «официально» признанные силы современной культуры?

И вот чувственные ощущения, взятые самые по себе, оказываются в духовном отношении слепыми и творчески бессильными; они нуждаются в руководстве; им необходима высшая, целесознательная и ведущая инстанция. Если ее нет, то они начинают служить телу и его похотям, бездуховному инстинкту самосохранения и размножения во всей его самовластности и безоглядности. Это мы видим в хозяйственной наживе и конкуренции; это обнаруживается и в современном модернистическом искусстве.

В науке власть и контроль принадлежат теоретическому мышлению. Это, несомненно, приводит к познавательным успехам. Однако такой «научный прогресс» остается духовно-безразличным и мертвенным. Ибо мысль, взятая сама по себе, отвлечена и логически понудительна, но бездуховна и бессердечна. Предоставленная собственной природе и инерции, она является аналитически-отвлекающей силой, все разлагающей, развязывающей и подкапывающей. Еще недавно в мире чествовали мышление как величайшую силу доказательства и просвещения, как о́рган самой истины, как «разум» (Ratio!); и вот оно незаметно опустилось до произвольного и плоского «конструктивизма» и превратилось в пошлый, скептический рассудок. И оказалось, что «чистое» (голое) мышление – духовно индифферентно и мертво в делах созерцания и сердца. Оказалось, что оно представляет из себя величайшую опасность для человеческого рода – о́рган лжи и мнимых доказательств, орудие обманной и губительной пропаганды, путь соблазна и разрушения…

Не стоит доказывать, что человеческий инстинкт[13] есть великая сила, что от него можно ждать большой «пользы» и жизненной «службы», но что, взятый сам по

себе, он ведет не путями духа, а звериными тропами. Поскольку око духа в инстинкте спит или, может быть, угасло совсем, постольку он становится орудием человеко-животности – гибким, цепким, изворотливым и лукавым. Но о достойной жизни, но о духовной жизни, о социальной жизни – он и не задумывается. В биологическом отношении человеческий инстинкт есть сила таинственная и изумительная; но в духовном отношении он может остаться слепым и бессильным. Свою истинную мощь, полноту своих способностей он приобретает только тогда, когда в нем просыпается око духа и когда оно, пробудившись, становится определяющим, ведущим и облагораживающим началом жизни. Дело не в том, чтобы «дух» и «инстинкт» как-нибудь примирились в человеке, ужились и «не мешали» друг другу, но в том, чтобы «волк» инстинкта радостно предался «ангелу» духа и свободно служил ему, встречая с его стороны бережное и благодатное водительство. Проблема разрешена верно, если духовность светит из инстинкта, а инстинкт «облекается в дух».

Что же касается человеческой воли, то и она, взятая сама по себе, есть сила формальная и духовно-безразличная. Она есть способность выбирать и решать, но верного критерия для выбора и предпочтения она не имеет. Она есть способность «держаться» и «нести бремя», но ведения того, во имя чего она несет свое бремя, ей не дано. Это есть сила концентрации, лишенная очевидности. Это есть дар повелевать, но без веры в правоту и в духовное достоинство предписанного. В сущности, великая, но страшная и пустая сила. Поскольку дело сводится к «единой линии» в жизни и к ее «ритму» – воля необходима и незаменима; но поскольку дело идет о верном выборе духовно-истинных целей и жизненных содержаний – постольку воля бескрыла и беспомощна. Самые отвратительные, самые преступные, самые богопротивные организации человеческой истории строились и держались силою воли. Но воля, взятая сама по себе, есть сила холодная, жесткая и безлюбовная; она создает беспринципную власть; она ведет не к Богу, а к дьяволу.

Что же касается воображения, то оно, предоставленное самому себе и своему нестесненному полету, оказывается приятной и развлекающей способностью: оно представляет себе в образах все возможное, что кому угодно. Оно легкоподвижно, капризно и безответственно; оно угождает инстинктивным желаниям человека и жаждет удовольствий; оно всегда может «так», и еще «иначе», и еще «совсем иначе»; ему нравится беспочвенность и беспредметность; иногда оно может случайно вознестись в сферу духа, но и там оно остается духовно-безразличным и не превращается в творческое созерцание.

Есть одна сила, которая имеет призвание направлять, укоренять и сообщать духовную предметность всем этим способностям, – это сердце, сила любви, и притом духовной любви к действительно прекрасным и драгоценным предметам. Дело жизненного выбора, и притом верного и окончательного выбора, есть дело духовной любви. Кто ничего не любит и ничему на земле не служит, тот остается пустым, бесплодным и духовно мертвым существом. У него нет в жизни высшего и властного руководства, и все силы его остаются как бы на распутье. Но так как жизнь требует движения и не терпит застоя, то способности его начинают жизнь самовольную и разнузданную. Чувственные ощущения становятся у него самодовлеющими и распущенными; мышление развивается механически, холодно и оказывается во всей своей прямолинейной последовательности – враждебным жизни и разрушительным (таково дедуктивное мышление у полуобразованных людей! Таков всеразлагающий анализ скептиков!). В жизни человека с пустым и мертвым сердцем господствует жадный до удовольствия инстинкт. Воля его становится жесткой и циничной; воображение – легкомысленным и творчески бесплодным. Ибо в высшей и последней инстанции все вопросы человеческой судьбы решаются любовью. Только любовь может ответить человеку на важнейшие вопросы его жизни: «чем стоит жить? чему стоит служить? с чем бороться? что отстаивать? за что идти на смерть?» И все остальные душевные и телесные силы человека суть в конечном счете не более чем верные и способные слуги духовной любви…

Так слагаются высшие духовные органы человека. Любовь превращает воображение в предметное видение, в сердечное созерцание, из этого вырастает религиозная вера. Любовь наполняет мысль живым содержанием и дает ему силу предметной очевидности. Любовь укореняет волю и превращает ее в могучий орган совести. Любовь очищает и освящает инстинкт и отверзает его духовное око. Любовь углубляет и облагораживает чувственные восприятия, она придает им художественный смысл и заставляет их служить искусству. И во всем этом нет никаких преувеличений; все это простые и основные истины духовной жизни, в которых опытный глаз сразу узнает основные истины христианства.

III

Согласно этому сердечное созерцание надо понимать так.

Когда человеческая любовь избирает себе такое жизненное созерцание, которым действительно стоит жить и за которое стоит и умереть, – то она становится

духовной любовью. Если же духовная любовь овладевает человеческим воображением, наполняет его своею силою и своим светом и указывает ему достойный предмет, то человек отдается сердечному созерцанию: в нем образуется новый, чудесный орган духа, орган творчества, познания и жизни, который возносит и окрыляет его. Этот орган требует внимания, упражнения и привычки; он открывает перед человеком новые возможности и новые пути культуры.

Тогда человек обращается к миру с тем, чтобы предметно вчувствоваться в него, и сочетает, таким образом, весь объективизм предметной культуры со всею силою лично субъективного самовложения. От этого его творческий акт получает новое направление и новую силу. А если к этому присоединяется художественное дарование, то он приобретает способность особой мощи. Его восприятие может дойти до художественного отождествления с сущностью вещей и человека, и тогда оно начинает открывать ему гораздо более того, чем обычно считается возможным. Систематическое укрепление и осуществление такого акта художественного отождествления может дать настоящие чудеса в смысле точного постижения: у человека может развиться дар своеобразного ясновидения. Этот дар может стать для него сущим бременем и мукой, ибо в мире столько зла, злых побуждений, отвратительных преступлений и хаоса, что воспринимающий их в порядке отождествления человек не может не страдать.

И вот созерцающее вчувствование может постепенно овладеть всеми другими способностями человека: инстинктом, волею, мыслью и другими силами духа. Тогда личная душа человека станет как бы покорным и лепким воском, который будет повиноваться каждому предмету и до известной степени превращаться в то самое, что человек воспринимает и познает. От этого у гениальных художников накапливается целое богатство жизненных постижений, сокровище из разнообразнейших образов мира, так что со стороны может показаться, что этот художник обладает каким-то «всеведением». Это и есть то самое, что изумляет нас у Пушкина, у Достоевского, у Леонардо да Винчи и у Шекспира: кажется, что этому художнику открыто все, что он все знает, все видит и обладает способностью переживать и изображать «чужое» как «свое собственное»; или еще: кажется, что он «всюду побывал» и всюду точно и до конца постиг первозданные состояния всех вещей и глубочайшие связи всех духов между собою; или еще, что дух его древен, как мир, ясен, как зеркало, и мудр некой божественной мудростью… и что именно поэтому он всегда творчески юн и нов, оригинален и неисчерпаем…

Такой акт можно было бы обозначить как «созерцание сердца» или просто как «созерцание». Именно этой творческой компоненты не хватает современному человеку и современной культуре. Мы должны признать ее драгоценной способностью и добиться ее возрождения и восстановления; мы должны дорожить ею и укреплять ее в себе, для того чтобы очистить, оплодотворить и углубить нашу культуру.

Созерцать значит приблизительно то же самое, что «смотреть» или «рассматривать»; но созерцание есть духовное смотрение и видение, которое способно очищать, символически углублять и творчески укреплять чувственный взгляд человека.

Созерцать значит приблизительно то же самое, что «наблюдать»; но созерцание есть такое наблюдение, которое вчувствуется в самую сущность вещей.

Созерцание можно было бы условно охарактеризовать как «воображение»; но только созерцать – значит взирать интенционально; поэтому созерцание призвано вживаться в образы мира или в объективный состав каждого предмета – ответственно и сосредоточенно.

Созерцание, если угодно, сродни «фантазии»; но только созерцающая фантазия руководится духовной любовью. Поэтому она не разбрасывается, а сосредоточивается и отдает свою «интенцию» – в смысле «направления» и в смысле «интенсивности» – любимому духовному предмету.

Можно было бы определить созерцание как непосредственное восприятие («по-ятие» или «по-н-ятие»), но только в том смысле, что оно предается тотальному вживанию в любое жизненное содержание. Это содержание, может быть, мыслится, или желается, или воспринимается чувственно, или видится в мечте, или же рисуется, лепится, поется, строится, выговаривается в слове или совершается в виде поступка. Созерцающее вчувствование может предаться любому жизненному содержанию, или любому предмету, – воспринять его и культурно-творчески претворить его. При этом оно всегда обращено к реальностям, которые избираются и воспринимаются силою духовной любви.

Поэтому сердечное созерцание может присоединиться к любому культурному акту; и каждый культурный акт, к которому оно приходит, приобретает особую предметность, проницательную глубину, духовную значительность и творческую силу.

Так, в познании оно может возвыситься до того «интеллектуального видения», которым жил Платон, в котором Кант отказал человеку и которое Гегель положил в основу своей философии. В этике и политике, в целепонимании и действии оно может приобрести волюнтаристический характер и открыть человеку предвидение событий,

практическое созерцание вдаль, вширь и вглубь. В искусстве оно приведет человека к символически-художественному ви́дению и сделает его мастером «эстетического предмета». В сфере права и правоведения оно пробудит в человеке живую интуицию правосознания и сообщит ему такое предметное правовое ви́дение, о котором современная юриспруденция забыла и думать.
Оно зажжет в ученом любовь к его предмету, даст ему волю к вчувствованию, искусство отождествления и сделает его исследователем «самосути» и знатоком человеческой души. Священник и духовник научатся зреть сердца людей, зажигать их Божьим лучом и вести их к самостоятельному и предметному религиозному опыту. Все лечение врача обновится силою индивидуализирующего вчувствования. Школьное преподавание переродится, и дети начнут переживать по-новому уроки геометрии, географии, истории, педагогики и особенно Закона Божия, излагаемые в словах и образах сердечного созерцания. Кто имел хоть одного учителя, так преподававшего свой предмет; кто хоть раз в жизни встретил адвоката, или судью, или податного инспектора, обладавшего этим даром; кто имел дело с ротным или батальонным командиром, любившим своих солдат, – тот сразу поймет эту перспективу и верно оценит ее. Что же касается художественного творчества, то его настоящий источник живет именно в сердечном созерцании. Воображающее вчувствование есть именно тот подход к миру, который открывает человеку все двери и все богатства вселенной; нет ничего такого, что могло бы заменить художнику луч созерцающего сердца, – ни в замысле, ни в вынашивании, ни в формировании, ни при завершающей отделке.
При этом нельзя забывать, что в человеческой жизни есть такие реальности, которые воспринимаются, открываются и обогащают дух только через сердечное созерцание. Замечательно, что это именно те предметы, которые определяют смысл человеческой жизни, так, что без них жизнь человека скудеет и мертвеет. Духовно воспринять Бога и утвердить свою веру в Него можно только при помощи сердечного созерцания; оно не может быть заменено никаким умственным доказательством, никаким волевым решением, потому что вера возникает от вчувствования в Совершенство. Обрести свою земную родину и служить ей верою и правдою можно только через сердечное созерцание: тот, кто не любит свою родину, кто не умеет беречь и творить ее любовным созерцанием, кто не видит ее сущности, ее своеобразия, ее развития, ее живых сил, ее жизненных необходимостей и опасностей, кто не имеет духовного основания вложить в нее свою волю и отдать за нее свое достояние и свою жизнь, – тот не знает, что такое патриотизм. Есть еще и другие предметы, требующие именно этого акта. В конце концов, сердечное созерцание составляет подлинную сущность всякого творческого отношения человека к человеку: без него нет ни истинной дружбы, ни истинного брака и семьи, – но лишь бледные и обманчивые тени живого общения.
Вот почему я сказал с самого начала: созерцание возносит человеческую душу и делает ее окрыленною. Об этом знали все религиозные вожди и все великие мыслители человечества. Об этом знает кое-что и каждый счастливый человек. И если наша грядущая культура сулит нам надежду и утешение, то лишь при том условии, что возродится и обновится эта великая сила человеческого духа.

20. О БЛАГОДАРНОСТИ

Нет сомнения – человечество найдет пути, ведущие к обновлению, углублению и окрылению своей культуры. Но для этого оно должно научиться благодарности и на ней строить свою духовную жизнь.
Современное нам человечество не ценит того, что ему дается; не видит своего естественного и духовного богатства; не извлекает из своего внутреннего мира того, что в нем заложено. Оно ценит не внутреннюю силу духа, а внешнюю власть – техническую и государственную. Оно хочет не творить, создавать и совершенствовать, а владеть, распоряжаться и наслаждаться. И поэтому ему всегда мало и всего мало: оно вечно считает свои «убытки» и ропщет. Оно одержимо жадностью и завистью и о благодарности не знает ничего.
И вот, каждый из нас должен прежде всего научиться благодарности.
Стоит нам только раскрыть наше духовное око и присмотреться к жизни – и мы увидим, что каждое мгновение как бы испытывает нас, созрели ли мы для благодарности и умеем ли мы благодарить. И тот, кто выдерживает это испытание, тот оказывается человеком будущего: он призван творить новый мир и его культуру, он уже носит их в себе, он творческий человек; а тот, кто не выдерживает этого испытания, тот одержим духовною слепотою и завистью, он носит в себе разложение гибнущей культуры, он человек отживающего прошлого. Вот критерий духовности, вот закон и мера, о которых мало кто думает, но по которым необходимо различать людей.
Как только человек откроет свое духовное око и воспримет окружающую его вселенную, – сквозь эту жестокую кору повседневности и примелькавшейся, привычной, омертвевшей пошлости, – так он откроет великое множество даров, окружающих его отовсюду. Обычно мы принимаем эти дары самоуверенно и равнодушно,

как нечто само собою разумеющееся, как наш «экзистенцминимум», причитающийся нам: кажется, что все это рассыпается в мире «так, между прочим», «ниоткуда» и никакого особенного значения не имеет. Мы измеряем эти дары мерою нашей личной пользы, и ропщем, и негодуем, если что-нибудь нас не удовлетворяет или нам не подходит… Мы проходим через жизнь как властные и самодовольные хозяева, которые имеют полное право заметить и не обратить внимания, принять и отвергнуть, одобрить и пожурить, воспользоваться и забыть. Мы выбираем нужное и полезное, мы предпочитаем удобное и приятное, – и оставляем прочее без внимания. Как неблагодарные наследники, мы совершенно не думаем о Том, Кто оставил нам это жизненное богатство и Кто вложил в каждый самомалейший дар следы Своего Духа. Как только мы откроем наше духовное око, так мы увидим везде и повсюду целое богатство таких даров, данных нам не для жизненного использования или злоупотребления, а для изучения, истолкования, изумления и радования. Мы разучились дивоваться на эти истинные чудеса Божии, мы проходим мимо них с каменным и холодным сердцем, и если кто-нибудь дивуется на их таинственную божественность, то мы пытаемся разочаровать и «успокоить» его при помощи механически-плоских «объяснений» – и считаем это признаком нашей «образованности» и «просвещенности». Но это и свидетельствует о нашей духовной «декадентности» и бесплодности; и еще о нашей завистливости и неблагодарности. Ибо, в самом деле, кто, получив некий богатый дар, начинает злоупотреблять им в бессердечии, тот лишен чувства благодарности: он отвечает на щедрость – черствостью и на благость – пренебрежением, и это обличает в нем завистника. А зависть делает его слепым.

Мир полон чудес Божиих – вот древняя мудрость, которая не увянет во веки веков. Никакие научные исследования и открытия не отнимут у нее ничего; они только возобновят и подтвердят ее с новою силою. Так было, так и будет. Никакое наблюдение не лишит богосозданного чуда – его глубины и значительности; никакое мышление, познание и объяснение не погасит его необъясненной таинственности. Мы просыпаемся к бытию и жизни – и видим себя окруженными этими дарами, как бы включенными или вращенными в них: пространство, время, живая материя, душевные способности, духовные силы. Мы живем всю жизнь в этих дарах, ими, из них; мы творим в них новое и можем создать из них дивное и значительное; мы наслаждаемся ими и тогда, когда злоупотребляем ими; а когда мы покидаем эту жизнь, то иногда уходим с чувством, что нам было дано бесконечное богатство и что мы сделали из него слишком мало.

Какой драгоценный дар имеет собственное, лично-особенное, единственное в своем роде, покорно-непослушное тело, всю жизнь прислушиваться к нему, чтобы овладеть его таинственными законами и подчинить их законам духа. Какое драгоценное право – превратить его в верный символ своей духовности и, наконец, когда оно впадает в изнеможение, покинуть его для лучшей, более свободной и духовной жизни!

А этот изумительный дар Божий, именуемый пространством, с его светом и тенью, с его прерывно-непрерывным наполнением, с его бесконечными звездными далями, с его богатством форм и красок, со всеми радостями движения и относительного покоя, с творческими перспективами в искусстве! Сколько созерцания, сколько тайн, сколько мудрости!

А дивный дар времени – с неисследимым началом и неведомым концом… Всего один, кратчайший, светлый миг длительности, скользящий из будущего в прошлое, пожизненно непреходящий, раскрывающий нам сразу две перспективы – утрачиваемого богатства в прошедшем и обетованного богатства в будущем… Великое русло мгновений, которое мы можем заполнить творческим трудом, любовью, богосозерцанием, молитвой и красотой и по которому мы в действительности то проносимся в страстях и злодеяниях, то влачимся в пошлых развлечениях…

А это неисчерпаемое богатство природы – в ее органическом единстве, в ее сокровенной закономерности, в ее покое и в ее бурях, в ее благостной готовности служить человеку, показывать ему свою красоту, открывать ему свою разумность и тихо принять его покинутые останки…

Каждый дар дивен и драгоценен, каждый указывает человеку его задачи и его никогда не заполнимые перспективы. Каждый говорит нам о сокровенной благости, мудрости и любви к человеку; каждый зовет его к истинному счастью.

Да, это – счастье: властвовать над своим телом и над своею душою, строить и крепить свой характер, копить духовные богатства, совершенствовать свои духовные акты. Это счастье – творчески работать, создавать в мире новую красоту, отдавать свое вдохновение и свои усилия на создание Божией ткани в мироздании. Это счастье – вести общение с людьми, вчувствуясь в их жизнь и постигая ее смысл; отдавать им свое лучшее и принимать их дары; прощать им и получать от них прощение; иметь отца и мать, и самому делаться отцом или матерью; иметь верных друзей; отстаивать свою родину и служить своему народу. Это счастье – любить и быть любимым; это чудо – обмениваться взглядом любви и выражать любимой женщине

полноту своего чувства – целостно и нежно. Это счастье – воспринимать веяние духа и одухотворять свою душу и жизнь. Это счастье – переживать молитву, исследовательскую очевидность, совестный акт, художественное созерцание, истинную политическую свободу и служить водворению справедливости на земле.
Но высшее счастье состоит в том, чтобы находить в собственном сердце Божий луч, следовать ему в молитве и в делах, постигать его во всем и повсюду, и открывать другим людям доступ к нему.
И вот, когда наше духовное око отверзается, видит эти дары во всей их драгоценности и неисчерпаемости и когда сердце наше ощущает скрытую за ними благость и любовь, – то приходит час нашего ответа на все узренное и полученное. И если мы не отвечаем молитвою благодарения, то мы оказываемся недостойными этих даров. Но при этом мы уже не можем оправдываться нашей прежней слепотой. Если наше сердце не отозвалось, не вострепетало и не загорелось, если оно не преисполнилось благодарности, то это означает, что оно ожесточилось в черствой зависти.
Что такое благодарность? Это ответ живого, любящего сердца на оказанное ему благодеяние. Оно отвечает любовью на любовь, радостью на доброту, излучением на свет и тепло, верным служением на дарованную благодать. Благодарность не нуждается в словесных изъявлениях, и иногда бывает лучше, чтобы человек переживал и проявлял ее бессловесно. Благодарность не есть и простое признание чужого благодеяния; ибо озлобленное сердце сопровождает такое признание чувством обиды, унижения или даже жаждою мести. Нет, настоящая благодарность есть радость и любовь, и в дальнейшем – потребность ответить добром на добро. Эта радость вспыхивает сама, свободно, невынужденно и ведет за собою любовь – свободную, искреннюю. Человек приемлет дар – и радуется не только полученному дару, но и доброте дарящего, Его любви и Его бытию и, наконец, тому, что эта доброта пробуждает любовь в душе самого одаренного. Дар есть зов, взывающий к доброму ответу. Дар есть луч, требующий ответного излучения. Он обращается сразу – и к сердцу, и к воле. Воля принимает решения; она желает ответить и начинает действовать; и это действие обновляет жизнь любовью и добротою.
Когда человек видит перед собою неисчерпаемые дары Божии, то в нем очень скоро возникает чувство, что он никогда не сможет ответить сполна на эту неисчерпаемую благость. Чем дольше, чем постояннее он погружается в созерцание этих даров, тем увереннее он читает повсюду символические письмена Всевышнего и тем сильнее становится в нем чувство, что он никогда не сумеет ни прочесть их до конца, ни воздать Господу достойную благодарность и хвалу. Сколько гениальных естествоиспытателей носили в себе это чувство в течение всей жизни, и все они знали о том, что «достаточного» ответа они не имеют!..[14]
И в самом деле, чем мы можем ответить великому Подателю этих даров? Какая благодарность соответствовала бы Его благости?.. Поэтому правы те, кто, проведя свою жизнь в созерцании и благодарении, завершают ее молитвою: «Прости мне Господи, что я не сумел достойно возблагодарить Тебя за дары Твои, что не хватило у меня любви и радости для того, чтобы любить Тебя превыше всего и радоваться на Твои создания»…
Так отверстое око духа воспринимает дары Творца; так истинная благодарность поставляет нас в луч Божий и возводит нас к созерцанию Его. Каждый миг жизни испытывает человеческое сердце: способно ли оно к благодарению, созрело ли оно для благодарности; ибо каждый миг несет ему дары, из коих благостно излучается верховная мудрость и любовь. Поэтому глубочайший смысл благодарности состоит в том, что она открывает человеку доступ к Богу: ибо она есть не что иное, как воспламенение личного огня, отвечающего на зов вечного отеческого пламени из средоточия вселенной.
Так религиозная благодарность очищает душу от зависти и ненависти. И будущее человечества принадлежит именно благодарным сердцам.
21. ЧТО ТАКОЕ РЕЛИГИОЗНОСТЬ
Из частного письма
Дорогой друг!
Ответить на вопрос, который ты мне ставишь с такой неумолимой строгостью, совсем не так легко и просто. Ведь это один из самых тонких и глубоких вопросов, касающихся человеческого существа. Здесь дело идет о самой интимной сфере внутреннего мира, где многое оказывается столь «воздушным» и неуловимым, безмолвным и избегающим слов, где самое ароматное оказывается невыразимым и неописуемым, так что иногда кажется совершенно невозможным приблизиться к исследуемому предмету, не говоря уже о его логических определениях и об их исчерпывающей точности. Далее, между верою и неверием, между религиозностью и безрелигиозностью есть множество своеобразных промежуточных состояний, при которых человек остается колеблющимся, нерешительным, неуверенным, сомневающимся и неустойчивым, причем из этих состояний есть пути, возводящие к подлинной вере,

и другие пути, низводящие к слепому ожесточению. Иногда под корою теоретического неверия живет втайне настоящая и глубокая религиозность; и наоборот, нередко ярко выраженная церковная набожность скрывает за собою совершенно недуховную душу с ее совершенно сухими и бессердечными психическими механизмами, известными в науке под именем «навязчивых» или «панических»… Посмотри: в мире есть множество вероисповедно-причисленных, но неверующих людей – «христиан», совершенно не верующих в Бога и не способных сказать своим детям что-нибудь верное о Христе. И кто знает, проснется ли в этих людях и когда – живое религиозное чувство…

Поэтому нельзя требовать в этой области скороготовых и притязательных логических определений! И если кто-нибудь предлагает такое определение, то мы имеем полное основание отнестись к нему с недоверием.

Но я попытаюсь дать тебе несколько существенных, исследовательски-нащупывающих указаний, по которым можно бывает узнать религиозного человека.

Самое важное состоит в том, что религиозность не есть нечто частичное, но целостное. Она имеет удивительную способность внутренне объединять человека, придавать ему духовную цельность или «тотальность». Эта целокупность инстинкта, души и духа, разрозненных влечений и главного, основного жизненного потока достигается различно в разных религиях. Но она всюду имеется налицо, где религия сохраняет свое духовное достоинство. Религиозный человек подобен «монолиту». И строго говоря, человека только тогда следует называть религиозным, если и поскольку ему удается стать духовным единством. Бывает так, что человек становится таким единым духом только в труднейшие часы своей жизни; но тогда именно в эти часы он и оказывается подлинно религиозным. Но дело может сложиться и так, что человек только в последние часы своей пошлой или даже преступной жизни вознесется к внутренней, душевно-духовной тотальности, подобно тем «детопокупателям», о которых повествует Виктор Гюго («L’homme qui rit»[15]): в открытом океане их настигает буря, они терпят кораблекрушение, в первый раз в жизни произносят молитву Господню и тонут, стоя на коленях. Если человек духовно слаб, расколот или растерян, то это означает, что его религиозность только еще возникает или, наоборот, разлагается и гибнет. Тогда он не может молиться; а тот, кто в таком состоянии пытался молиться, тот знает хорошо, что это была попытка собраться воедино, духовно сосредоточиться и вознестись к цельности, стать хотя бы на миг духовно-тотальным существом…

Поэтому можно было бы сказать: религиозен тот, кто способен молиться. Но молиться не означает становиться в молитвенную позу и произносить определенные слова. Молитва совсем не означает и просьбу. Есть молитва бессловесного созерцания, молчаливой благодарности, самоутраты в небесной благости. Можно молиться в форме вопрошания; можно молиться волевым решением; взывая о помощи; внимая новой, благодатно-молящейся музыке; простыми поступками; неутомимым исследованием. И такое молитвенное свершение всегда сохраняет свой религиозный характер; это есть подъем человеческого огня к Божьему Огнилищу и озарение человеческих сумерек божественным Светом.

Сущность религии состоит вообще в том, что человеку дается и человеком овладевает Откровение. Есть высшее озарение, окончательное и истинное узрение – очевидность. Но это не то «озарение», которое касается одного взора, еле затрагивает холодный взгляд и бесплодно соскальзывает с него. Откровение не дается любопытному глазу воображения; оно не касается мертвой поверхности душевной, но вступает глубоко во внутренний мир, чтобы захватить сокровеннейшее чувствилище. Оно подобно не касательной линии, а секущей. Оно проникает до самой глубины сердца, до источника воли и освещает, подобно молнии, сумрачные пространства инстинкта. Его луч пронизывает душу до ее инстинктивной духовности. Подобно яркому лучу, оно пробуждает око инстинктивно сокрытого духа, чтобы осчастливить его и воссиять обратно из его глубины. В качестве пламени оно зажигает огонь воли, и воля начинает желать духовной жизни, с тем чтобы от его укрепления и облагодатствования эта воля вступила бы в единение с Божиим пламенем. Это и есть то самое, что Макарий Египетский, этот живой пламенник Божий, называл «срастанием» (χρᾶσις – конкретность). И религиозность есть жизнь из этой, свободно и искренно принятой, таинственной и блаженной сращенности. Образно говоря, это можно было бы описать так. С неба падает молния – и дуб загорается мощным огнем; чем выше дерево, тем ближе к нему молния, тем дальше светит охватившее его пламя. Или еще: молния падает в заснувший вулкан, и вулкан отвечает извержением, которому теперь не будет конца. После восприятия откровения начинается новая жизнь; и эта новая жизнь есть религиозная жизнь. Пронизанный лучом Благодати, человек становится единым и цельным. И молитва есть не что иное, как стремление к этой встрече, или – отверзание духовного ока навстречу лучу, или – зов, направленный к божественному пламени.

Поэтому религиозность не есть какая-то человеческая «точка зрения», или

«миросозерцание», или «догматически-послушное мышление и познание». Нет, религиозность есть жизнь, целостная жизнь, и притом творческая жизнь. Она есть новая реальность, состоявшаяся в человеческом мире для того, чтобы творчески вложиться в остальной мир. Она есть соприкосновение мира с Богом, и притом в этой новой, лично человеческой точке. И более того, она есть новое вступление Божией «энергии» в человеческий мир, новое «облечение» божественного Света, божественной Благости и Силы в новое человеческое сердце. В общем – Событие мировой истории, в процессе возникновения и укрепления Царства Божия.

Люди, подходящие к этому событию извне, знают мало об этой реальности и говорят об изменении «субъективной точки зрения», о «личном обращении» данного человека. Но обновленный человек переживает нечто иное. Он ощущает в себе новую реальность, владеющую им, объединяющую его личность и включающую его по-новому в новый мир. Он чует в себе, подобно Илье Муромцу, новую силу, которая представляется ему беспредельною. Эта сила есть до известной степени «он сам», – отсюда его повышенная ответственность; и в то же время она гораздо больше и могущественнее его, – отсюда его искреннее смирение. И действительно, в нем живет новая Сила и Власть, которая делает его гораздо более сильным, чем он был сам по себе и чем он смел когда-нибудь надеяться. И теперь его величайшая забота состоит в том, чтобы оказаться достойным этой Силы и Власти и соблюсти себя в надлежащей чистоте…

То внутреннее воссоединение, которое он переживает, состоит в том, что в его собственных пределах возникает новый, властный центр. Этот центр светит ему в его внутренней жизни то как тихое сияние раскаленного угля, то как победное и радостное пламя. Это светоносное сияние подобно молитве, которая, раз начавшись, не прекращается более. Религиозный человек может исполнять свои жизненные дела, может, по-видимому, предаваться до поглощения своим исследованиям, восприятиям и увлечениям и не думать о своем светоносном источнике, – но свет не исчезает, он остается и длится, он сияет, светит и ведет. Иногда кажется, что он только дарует свет, но непрерывно, тихо благостно и властно. Но иногда кажется, что он зовет, – то шепотом, то «знаменуя» и предупреждая, как у Сократа; то требуя и вовлекая в решение и деяния, как у христианских праведников; то в виде побеждающей любви, как у Исаака Сириянина и у Серафима Саровского; то разверзая внутреннее око и даруя созерцательную очевидность, как у великих философов и естествоиспытателей. А когда человек возвращается из своих мирских предприятий и земных вовлечений к себе, в свою лично-духовную глубину, то он убеждается, что его пребывание «вне центра», в земном лесу, куда он уходил от своего храма, не разлучало его с его священным центром и что огонь его божественного алтаря не угасал. Это испытывается как великая радость и ободрение. Возвращение в уже сложившийся и устойчивый центр придает его пламени очистительную силу; и каждый раз, как это возобновляется, духовная центрированность человека становится все более мощной и определяющей. Так человек получает возможность постоянно осязать в своей душевно-духовной глубине некую непрекращающуюся сокровенную молитву, – бессловесную, тихо сияющую наподобие лампады, – и не выходить из центрального луча даже и в таких жизненных положениях, которые являются, по-видимому, «безразличными» или «периферическими»…

Так слагается характер религиозного человека. Постепенно его духовный центр, – где он обретает в себе Божию Энергию или где он «утрачивает» себя в Его лучах, – становится в нем вездесущим. Это совсем не выражается в том, что он то и дело принимает благочестивый вид, надоедает всем окружающим своим пустосвятством, держится чопорно и елейно или ведет постоянно богословские и моральные беседы. Нет, его центрированность остается интимной и личной, и притом совершенно подлинной в своей интимности и совершенно тихой, непоказной при всей ее подлинности. Но все в нем светится и сияет. Свет изливается во все его душевные состояния, планы, труды и предприятия. Светятся его глаза, лучится его взгляд. Светла его улыбка. Поют звуки его голоса; гармонически естественна его походка. Он сам становится ясною и прозрачною «средой» для своего центра, послушным и верным «органом» своего излучающего сердца. И вся атмосфера его души уподобляется утреннему воздуху, промытому ночным ливнем с бурею. Про таких людей хочется иногда сказать: «Он чист, как стеклышко Божие»…

Или, иными словами, духовный центр такого человека непрерывно посылает свои «волны» и «лучи». Эти лучи освещают его внутреннее пространство в его одиночестве; они светят вовне, исходя из его дел; они проникают из него во внешний мир. А мир должен быть счастлив и горд, имея в своем составе такого свободно-искреннего и духовно-прозрачного человека.

Вот почему религиозный человек не склонен ко лжи. Отвращение к неискренности есть дивный и верный знак религиозности. При наличности серьезных духовных побуждений такой человек может, конечно, заставить себя умолчать об известных событиях и скрыть известные состояния души. Жизнь сложна и многообразна; и голая

правда не всегда в жизни духовно уместна и благотворна. Но религиозный человек никогда не лжет перед лицом своего Центра, никогда и ни в чем, так же как он не лжет о своем Центре и из него. Он не может выговорить ложь или совершить предательство перед лицом Божиим уже в силу одного того, что он не выходит из своего центрального луча и сам служит ему верной и прозрачной средой. Но именно поэтому каждый беззастенчивый лжец нерелигиозен и отчужден от Бога; и церковь, разрешающая и практикующая ложь, утрачивает свой священный смысл и становится орудием противобожественной силы.

Все это можно было бы выразить так. Религиозного человека нетрудно узнать по тем лучам света, которые исходят из него в мир. Один светит добротою; другой – своим художественным искусством; третий – своей очевидностью, или умиряющим покоем, или дивным пением, или простыми, но благородными деяниями. Именно это разумеет Евангелие: «по плодам их узнаете их» (Мф 7:16). Этот свет живой религиозности трудно скрыть или не заметить, потому что он проникает сквозь все дела и «светит миру» (Мф 5:14); и только совсем ожесточенные и сердечно слепые люди могут пройти мимо него, ничего не заметив. Внутренняя жизнь религиозного человека должна обнаруживаться и стремиться выйти во внешний мир. Из родникового ключа естественно и верно пить воду. Весенний воздух дается людям для того, чтобы они им дышали; и свет Божий должен светить людям (ср. Мф 5:16). А живая религиозность есть дух Божией весны, веющий в проснувшемся сердце; и есть вода из Божьего родника, который таинственно пробился в облагодатствованной душе; и есть свет Божий, который призван свободно и беспрепятственно излучаться в мир. По этим свойствам, и склонностям, и проявлениям узнается религиозный человек. В нем есть дуновение духа; в нем есть пение души; из него излучается свет. И всегда он больше, чем он сам; и всегда он внутренно богат, настолько, что он сам далеко не всегда знает меру своего богатства. Ибо то, что он в себе носит и что он излучает, есть Царство Божие, которого он является тайным участником.

ПОСЛЕСЛОВИЕ

О ДУХОВНОМ ИЗЛУЧЕНИИ

Мы, люди современной эпохи, не должны и не смеем предаваться иллюзиям: кризис, переживаемый нами, не есть только политический или хозяйственный кризис; сущность его имеет духовную природу, корни его заложены в самой глубине нашего бытия; он ставит нас перед последними вопросами и ведет нас в священную область. Мы не имеем ни права, ни основания изображать наше крушение как «невинную» или «неопасную» случайность. Мы должны найти в себе мужество и остроту взгляда, чтобы увидеть вещи такими, каковы они суть на самом деле; мы должны найти в себе волю, чтобы выговорить всю правду и вступить на новые пути. Нам надо освободиться от мелочей повседневности и приучиться смотреть вдаль: куда идет, куда соскальзывает современный мир? Что ожидает нас? Что нам делать для того, чтобы предотвратить злейшие возможности и создать новую, прекрасную жизнь?..

Но есть закон, в силу которого грядущая даль открывается только тому, кто смотрит из глубины. Поэтому нам необходимо подлинное углубление духа; мы должны прежде всего сосредоточиться и уйти в живую глубину нашего собственного существа, в «субстанцию» нашей человечности или, как сказал бы Аристотель, в «энтелехию» нашего духа, в ту священную сферу, благодатность и божественность которой возвестил нам Сын Божий, Иисус Христос. Повсюду, во всем мире должен начаться постепенно духовный пересмотр наших душевных актов и наших предметных содержаний: в отдельных людях и в малых кружках, в религиозных общинах, в философских обществах и в целых культурных движениях люди будут сосредоточиваться на последних, священных истоках своей жизни; они будут созерцать жизнь своего сердца и судить о нем, – каковым оно должно быть, и каким оно оказалось в действительности, и чего ему недостает… Чем серьезнее, чем ответственнее, чем глубже, чем искреннее будет этот пересмотр, тем лучше. Ибо бедствия нашего времени велики; и опасность можно будет преодолеть только тогда, если будет захвачена последняя глубина человеческой души, если человечество опять проложит себе путь к Богу. Здесь дело совсем не только в «моральном перевооружении», в этих скудных и вымученных словах, обозначающих новую и дешевую моду и обеспечивающих в лучшем случае укрепленную закулисную дисциплину. Человечество нуждается в обновлении духа и облагорожении инстинкта, в возвращении к евангельской вере, а не в «чистых перчатках», обещаемых антихристом.

Обновление, предстоящее нам, должно составить целую эпоху в истории. Ибо старые дороги исхожены, и прежнее строение акта, творившего культуру, привело нас к ужасным, чудовищным проявлениям внутренней жестокости и внешней техники. И близится время, когда мы все будем помышлять только о внутреннем обновлении и будем искать Божией помощи и спасения.

Поэтому наше время есть время поворота. Никогда еще отрицательные силы человеческого существа не выступали с таким дерзновением, так самоуверенно, с

таким самосознанием; никогда еще они не делали таких вызывающих попыток захватить власть над миром; никогда еще человек не располагал такими техническими возможностями, никогда еще он не владел такими разрушительными средствами… В мире намечается перелом; может быть, он уже совершается. Прежнее равновесие утрачено. И той худшей опасности, которая нам грозит, мы можем противостоять только при условии внутреннего обновления…

И первые признаки начинающегося обновления мы узна́ем в том своеобразном излучении, которое будет исходить от обновленных людей, в этих лучах живой доброты, сердечного созерцания, совести и мужественно-спокойной веры. Ибо нельзя приходить в соприкосновение с этими последними сферами человечески-божественной глубины, не пробудив в своем инстинкте живой духовности, не оживив в себе христианского сердца со всей его дивной энергией и прозорливостью. А живое сердце посылает в мир свои лучи; и эти исходящие из него лучи не просто человеческие, но божественно-духоносные…

Все чаще слышатся голоса, утверждающие, что человечество может спастись только через «Новое откровение»… Как если бы данное нам откровение Христа было «исчерпано» или «изжито»; как если бы человечество уже исходило Его пути – пути богосыновства, благодарности, сердечного созерцания и живой доброты, – и они не привели ни к чему… Как если бы современный кризис был не нашим кризисом, а кризисом Господа Бога, потому что Он открыл нам «слишком мало» или «слишком давно» и теперь должен поторопиться и восполнить упущенное. А в действительности это мы не сумели воспринять данное нам Откровение и зажить им по-настоящему…

Лучи божественного Откровения не были отняты у нас. Они светят нам и ныне, как в начале; и мы имеем задание – верно воспринять эти лучи и зажить ими. Нам надо найти религиозный акт верного строения, который позволит нам совершить это так, чтобы эти лучи не только светили нам, но излучались через нас и из нас самих, из нашего сердечного созерцания, соединяя нас с другими людьми, освещая нам близкое и далекое будущее и направляя нашу земную жизнь.

Современный человек должен увидеть и убедиться, что его судьба зависит от того, что́ он сам излучает в мир, и притом во всех сферах жизни. Он должен удостовериться в том, что дело идет о его душевном очищении, об оживлении и творческом изживании его сердца. Потому что заглохшее и омертвевшее сердце бессильно и слепо; и когда оно обращается к жизни, то оно не может вложить в нее ничего хорошего.

Человеческая культура может быть обновлена только живым, излучающим сердцем, ибо только в нем зарождаются новые творческие идеи, только ему дается очевидность.

Примечания

1
См. в моем труде «Аксиомы религиозного опыта» главы 1, 2, 5, 9, 16, 18, 19, 22, 25 и 26.

2
См. Герои и героическое в истории. <Спб., 1898,> с. 37, 113.

3
См. в моей книге «Путь духовного обновления», гл. 3, «О свободе»; в «Аксиомах религиозного опыта» главы 2, 3 и др.

4
В великом только желать – уже достаточно (лат.).

5
Напр., Andante-Cantabile из первого квартета Чайковского; «Мечтающее дитя» из «Детских сцен» Шумана и др.

6
Слово «инстинкт» происходит от латинского глагола «instinguere», что значит «побуждать», «возбуждать», «двигать».

7
М. Ю. Лермонтов. Дума. (В оригинале: «Когда огонь кипит в крови».)

8
Львиная суть (фр.).

9
Аутизм (от греч. αυτός – сам) состоит в преобладании субъективно-личного произвола над духовно-предметным элементом жизни.

10
Добротолюбие. <М., 1895>, <т.> I, <с.> 516.

11
Добротолюбие. <М., 1895>, <т.> II, <с.> 424.

12
Темный человек (лат.).

13
См. выше главу о «Духовности инстинкта».

14
См. книжечку профессора Деннерта: «Die Religion der Naturforscher». Leipzig, 1925. Я привожу выдержки из нее в моей книге «Путь духовного обновления», а также в «Аксиомах религиозного опыта».
15
«Человек, который смеется» (фр.).

Спасибо, что скачали книгу в бесплатной электронной библиотеке
http://filosoff.org/ Приятного чтения!
http://buckshee.petimer.ru/ Форум Бакши buckshee. Спорт, авто, финансы, недвижимость. Здоровый образ жизни.
http://petimer.ru/ Интернет магазин, сайт Интернет магазин одежды Интернет магазин обуви Интернет магазин
http://worksites.ru/ Разработка интернет магазинов. Создание корпоративных сайтов. Интеграция, Хостинг.
http://dostoevskiyfyodor.ru/ Приятного чтения!